

ЕКАТЕРИНА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ



КАК СОЗДАВАЛСЯ ФОТОПРОЕКТ
ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Екатерина Рождественская

**Частная коллекция. Как
создавался фотопроjekt**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Рождественская Е. Р.

Частная коллекция. Как создавался фотопроjekt /
Е. Р. Рождественская — «Эксмо», 2018

ISBN 978-5-699-99149-5

Фотографы, как астрономы, наблюдают за звездами. Екатерина Рождественская двадцать лет смотрела, как восходят одни звезды, кометами пролетают другие, падают третьи. Артисты, музыканты, политики превращались в студии Кати совсем в других людей. Как ведут себя звезды перед объективом, как сделать ордена из бумаги, кого из Катиных моделей любят дальнббойщики, кто не против сняться обнаженным и много других подробностей проекта вы узнаете из книги «Частная коллекция. Как создавался фотопроjekt».

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99149-5

© Рождественская Е. Р., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Предыстория	6
Пожар	10
Как придумалась «Частная коллекция»	17
Аллегрова и Нефертити	19
Съемки по блату	23
Родительские друзья	29
Переезд в студию	36
Арапчонок	43
Санина каптерка	46
Лидка и балетные истории	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Екатерина Рождественская

Частная коллекция. Как создавался фотопроjekt

© Рождественская Е., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

* * *

Предыстория

В конце прошлого века все и началось. А именно – в 1998-м, под самый Новый год. Ну, может, и не под самый, может, это мне сейчас так кажется. В том девяносто восьмом сентябре случился пожар, и вместе с домом сгорела вся моя прошлая жизнь. Я загрустила, хотя была безумно счастлива, что все остались живы. Первое время было тяжело привыкать к пустоте вокруг – в нашей семье обычно ничего не выбрасывали, а тут, на новой квартире, все стены голы, пустынные, взглядом не за что зацепиться. Кто знает, почему это было для меня так важно: то ли какой-то лишний ген накопительства портил общую семейную интеллигентную картину, то ли тяжелые советские годы вечного дефицита научили все держать при себе, обрастать сложными ненужностями и вышедшими из моды тряпками, а потом завозить все на дачный чердак и хранить вечно. А в тот пожарный момент я одним махом лишилась всего материального.

Всего и сразу.

Подчистую.

Не стало любимых книжек, которые гуртом стояли на полках, многочисленных фотографий бабушек-прабабушек в рамочках на стенах, старинной огромной лампы, которая висела над безбрежным резным обеденным столом, да и самого обеденного стола.

Закрыв дверь в прошлую жизнь, я открыла окно в новую.

Так бывает.

Отгоревав свое по сгоревшим вещам (не очень сильно, кстати, плакала только по фотографиям), я в поисках успокоения, часами медитируя над художественными альбомами у мамы на даче, придумала свой фотопроjekt, который назвала «Частная коллекция». И очень правильно назвала. Потом, когда проekt набрал силу и стал очень популярным, меня часто спрашивали, почему я не хочу снимать того или иного певца или актера. «А потому что это моя частная коллекция и это мое частное дело, кого снимать, а кого нет», – говорила я. И все сразу становилось на свои места.

Начинался проekt безумно интересно, и этот интерес держался на недостижимом уровне многие годы, пока приходили уникальные люди.



Надела очки – и уже почти похожа на портрет!

Гурченко, Рязанов, Образцова, Чурикова, Аксенов, Любимов, Азнавур, Гергиев, Фрейндлих, Третьяк и, как обычно в таких случаях пишут, многие-многие другие. Хотя они были совсем не «многие-многие другие»! Это был цвет российской культуры и спорта, абсолютно неповторимые, безмерно талантливые и достойнейшие люди, наш генофонд, сливки общества, причем самой что ни на есть повышенной жирности. Гордость страны, одним словом.

Я сама себе завидовала каждый раз, когда шла на съемки.

А потом, лет, наверное, через пятнадцать-шестнадцать после начала проекта, году в 2015-м я заскучала.

Наступила сериальная эра. Заработала российская фабрика грез.

«Звезды» вспыхивали одна за другой, быстро, шумно, пафосно, с шипением и гарью, в течение каких-то недель-месяцев. Их рейтинги зашкаливали, райдеры поражали обилием странных пунктов, количество пришедшей с ними «обслуги» не вмещалось в студию (это их слово, не я придумала).

И самое обидное, я никого из этих скороспелых звезд не узнавала, когда они приходили на съемки. Я в принципе не смотрела сериалы, не имея возможности тратить на это время, поэтому не могла разделять слюнявые восторги по поводу вхождения в студию той или иной

совершенно неизвестной мне «мегазнаменитости». Но для журнала они были интересны, и съемки назначались. Переговоры по поводу фотосессии велись долго и мучительно, директора хотели подчеркнуть сумасшедшую занятость подопечного, суежились, звонили-перезванивали, переносили встречу. И когда наконец всё срасталось, ошарашенное собственным величием, модное распиаренное существо входило к нам в студию. Оно обычно не здоровалось – нечего тут, всё равно вокруг одна обслуга, со всеми не наздравуешься, и томно закрывалось в гримерке под восторженные всхлипы ея челяди.

За эту сериальную эру у меня сложился некий усредненный образ звезды нового образца: молодой человек или девушка с самым средним образованием и ниже среднего воспитанием, без каких-либо выдающихся особенностей и способностей. Чуть-чуть поет слабым голоском. Чуть-чуть декламирует. Все время худеет, раздражается без повода и недоволен другими. Человек из толпы. Просто обычный, но очень удачливый человек, если уж из многолюдия выбрали именно его.

А поскольку фотографировать я хотела людей удивительных и удивляющих, особых и штучных, то переход на фабричное производство звезд широкого потребления совсем меня не устраивал. Я и пригорюнилась. В общем, сначала я притормозила, а потом и вовсе остановилась, поменяла сферу деятельности, стала писать. Устала от общения, от людей (шутка ли – снять 6000 человек!), от вспышек, которые повредили глаза, и от фотоаппарата, который заметно накачал правую руку. Зато получила 16 лет полного счастья и 2 года удивления от работы – кто еще таким может похвастаться?!

В 2001-м я родила младшего сына, Даньку, а потом пошли плодиться и фотопроекты, неразрывно с ним, ребенком, связанные. Сначала появился фотопроект «Сказки» (мы тогда читали ему всё подряд, и я решила посмотреть, как будут выглядеть наши знаменитости в образе Кикиморы или Кощея Бессмертного), потом «Мечты детства» (Данька начал фантазировать, кем станет, когда вырастет, а я стала выпрашивать у звезд, кем они хотели быть в детстве, чтобы быстро, за одну фотосессию, осуществить эту мечту на фотографии) и «Рождественские открытки» (постановочные фотографии детей на Рождество в стиле начала XX века).

Когда сын пошел в школу, появился проект «Классика» – у него началось изучение классической литературы, а я стала снимать всяких Гамлетов, Хлестаковых и прочих Остапов Бендеров. Проекты «Портрет Дориана Грея» (сугубо мужской) и «Моя прекрасная леди» (соответственно для женщин) – ответвление от «Классики». Оба проекта-превращения: в одном молодой красавец становится ужасным стариком, в другом – простушка-замухрышка Лайза Дулиттл в изысканную даму.

Изучение школьной истории я отметила проектом «Века», где совершенно несочетаемые люди – мне казалось, что так интересней, – играли роли исторических персонажей. Евгений Петросян и Наташа Королева, Вениамин Смехов и Надежда Бабкина, Сергей Безруков и Оксана Пушкина, Макс Покровский и Екатерина Стриженова, Леонид Якубович и Лариса Голубкина, Алсу и Владислав Третьяк, Галина Волчек и Максим Галкин – мне нравилось экспериментировать.

Но это будет всё впереди, а пока я только начинала смотреть на мир через крохотное квадратное окошечко фотоаппарата.

Когда я была совсем мелкой, то фотографировала небо в Переделкине. Дядька, папин брат Иван, давал мне маленький фотоаппарат и разрешал щелкать. Я щелкала небо.

– Зачем? Ничего там нет. Только пленку переводишь...

А мне казалось, это так красиво – цвет, легкость, глубина, облака, воздух, объем, птица, случайно попавшая в кадр крылом, далекая звезда, пусть днем невидимая, но ведь есть же она там, есть! Как дядька этого не понимал? И снова я снимала небо. И снова он ворчал и отбирал фотоаппарат. Хотя видела и воображала я, конечно, намного больше того, что оказывалось потом на плоских черно-белых фотографиях переделкинского неба. И все равно фотоаппарат в детстве был направлен почему-то все время вверх, точно помню. Бегала с ним, как с ружьем наперевес, по участку, затаивалась у какого-нибудь толстого дерева, целилась, как снайпер, щелкала и перебегала, чуть согнувшись, к другой засаде.

Как подросла, заинтересовалась тем, что под ногами, небо почему-то перестало волновать. Цветочки, грибочки, жучки-бабочки – все это оказалось намного интереснее и материальнее неведомых и романтических высот. Тут себе волю дала. Появился свой фотоаппарат, и – держись, округа! – я снимала все, что двигалось, цвело, лежало, пылилось, смотрело, виляло хвостом, плавало в луже и росло на ветке! Брала количеством, короче. Как это было потом ужасно! Обрубленные тела стрекоз, не поместившиеся в кадр, расплывчатые собачьи морды, нерезкие силуэты грибов – по фотографии даже не скажешь, съедобный или поганый. И вечный вопрос – а зачем я это все снимаю, кому это вообще надо? Но палец все равно нажимал на курок, вернее, на кнопочку, и вопрос этот до поры отходил на второй план, прямо как в фотографии, а потом и вовсе стал риторическим.

Но чтобы думать в юности о фотографии как о деле жизни? Да вы что! Врачом стать – с удовольствием! Поваром? Пожалуйста! Озеленителем? Лучше не придумай! На худой конец, журналистом. Вот набор профессий, о которых я серьезно тогда мечтала. И именно в такой последовательности.

В результате стала литературным переводчиком, риелтором, редактором и фотографом. Не одновременно, конечно, а в разные периоды жизни. И надо сказать, фотография – период самый пока интересный, долгий и яркий. Если не считать писательства.

А началось, как и положено в фотографии, с негатива.

Пожар

У нас сгорел дом. Вот так взял и сгорел. Дом, куда мы переехали, сдав московскую квартиру в 90-е, чтобы прожить, прокормиться и уехать от суеты, танков и горящего Белого дома. Перевезли все накопленное, нажитое и любимое – антикварную мебель, ценные гравюры и картины – часть большой родительской коллекции, отцовский архив, рукописи и шикарную библиотеку и всё остальное, включая изображения незнакомых мне предков и чуть потрескавшиеся фотографии любимых бабушек и прабабушек, совсем родных и теплых. Московскую квартиру бросили – пустую, гулкую, голую и выставившую напоказ все свои изъязны разом. Съехали, сдали, как город врагу, не жалея, даже радуясь – наконец будут свободные деньги на прокорм, вот хорошо! Все накопления были сожраны реформами начала 90-х, отцовские книги перестали издаваться, с работой у всех тогда было плохо, суетиться мы не умеем, поэтому жить особо было не на что. Но дом к тому времени был уже отстроен, простой бревенчатый сруб без выкрутасов и нуворишевских затейливых башенок. Дом и дом, двухэтажный, небольшой, ароматный. Даже сауну сделали, где я, за неимением другого места, разместила весь семейный гардероб. Дом обожала за то, что гвозди можно было забивать в любом месте – бревна же! Так и ходила первое время с молотком, вбивая гвозди по-мастерски, с одного удара, и вешая сразу или рамку с фотографией, картинку, или еще какую-то украшательную пустяковину.

Рядом со входом извела крапиву, которая привыкла веками хлестать всех, кто попадался на пути. Ветлу вывела, очень мусорное дерево, прихорошила дорожку, ведущую к родительскому дому, посадила розами и огурцами. Так и росли кусты парами – огурец растет рядом с розой, опирается на нее, цепляется за иголки, та цветет, и все это шикарное сооружение дает прелестные цветы и пупырчатые корнишоны. Собаки обходили розы стороной, знали, что могут уколотся, да и огурцы не выкусывали, боялись язык поранить.



Вот так пару лет прожили мы в доме, обжили его, уютно было и спокойно – родители на этом же участке, десять шагов пройти, дети во дворе с собаками гуляют под взаимным присмотром, овощи-цветы растут, птички поют, электричка за забором бежит.

Так и жили в мире и согласии.

Однажды ушла я к маме чай попить, вдруг вижу – дымок слабый потянул из крыши. Нет, думаю, это сосед баню затопил – она у него как раз за забором стоит. Видимо, попариться решил в воскресенье. Разговариваем спокойно, чай пьем, а я одним глазом все-таки на дым смотрю. А он тянет и тянет, все сильнее и сильнее. Раньше прозрачной, чуть белесой струйкой еле заметно поднимался, а теперь окреп, посерел и обнаглел как-то.

– Димка! – крикнула я мужу, который только вышел из дома погулять. – Дым! Сильный дым из крыши! – Крикнула и побежала на всякий случай проверять детей.

Детям тогда уже порядочно было – старшему 12, младшему 8. Один у компьютера в стрелялки играет, другой на кухне сооружает себе бутерброд. Все на месте, побежала смотреть, откуда дым. За забором оказалось все спокойно, баня спала. А вот наш дом... Из-под крыши рваными желтыми облаками вываливался дым. Там, где совсем недавно на чердаке проложили проводку. То ли гвоздем пробили, то ли еще что, не знаю. В общем, законтачило, искра пробежала, и пошло-поехало.

Муж забрался уже на чердак. Из-за дыма ничего видно не было. Гарь, сажа, дышать нечем. Огонь стал облизывать потолок. Напористый такой, голодный.

– Срочно шланг! – крикнул Димка.

Я побежала вниз, позвала детей, чтоб помогли. Они с удивлением начали разглядывать дымок, который бесшумно и очень живенько полез из-под чердачной двери. Их глазки забегали и засветились нешуточным любопытством. А как же – дым в доме, да еще в таком количестве, – первый раз в жизни, интересно же! Может, еще и огонь появится... Любопытно! Я поняла, что детей надо отправить в дом к маме, чтобы самой можно было помочь мужу. Отослала их. Сбегала за шлангом. Позвала сестру и маму. Размотали шланг, еле дотянули до дома, притащили кое-как сбитую давным-давно и уже полусгнившую лестницу, приставили к дому, к той части, откуда шел дым.



Дым крепчал и менял цвет в зависимости от того, что ел. Еще несколько минут назад был совсем белым, полупрозрачным, вполне безобидным, как от мангала с шашлыком, и вот уже какой-то химически-желтый, могучий, трещащий и с посвистом вырывающийся на волю, в кислород. И быстро все, очень быстро. Пока бегали со шлангом, я решила посмотреть, что творится в доме. Из входной двери уже шел дымок, и войти внутрь было довольно страшно – инстинкт самосохранения работал четко. Плюнула я на инстинкт и вбежала, закрыв нос кофтой. Услышала из кабинета Лешкин кашель. Он пыхтел, пытаясь вытащить огромный компьютер с монитором. Тогда еще компьютеры были крупные и неподъемные. Одному, конечно, было не под силу.

– Я ж вас отправила к Ляле! Как так можно! Где Митька? – крикнула я.

– Он наверху где-то, мам. Но без компьютера я не уйду, – поставил мне ультиматум.

– Сначала найдем брата, потом помогу.

Мы, завязав носы, пошли сквозь дым, ставший уже довольно плотным, на второй этаж.

– Митя! – позвала я.

– Мам, я тут, – сразу ответил младший из-под кровати.

– Ты что, решил тут переждать пожар? Очень умно. Идем-ка скорей, вылезай!

– Ты думаешь, сюда огонь доберется? Папа же тушит... – пытался все мне объяснить сын.

– Вылезай! Можно ж задохнуться!

Я выдернула его за руку из-под кровати, и мы сбежали вниз. Дышать становилось по-настоящему тяжело. Ни одного слова нельзя было сказать, не закашлявшись. Мы помогли Леше вытащить компьютер, и я снова сдала детей маме.

– Не выпускай их ни в коем случае, ладно? Привяжи, что ли, куда-нибудь или посади под замок!

И снова помчалась к дому. Пламя, красное, как нарисованное, с языками, уже вырывалось из-под крыши, шипя и подрагивая. Димка залез на полудохлую лестницу и, стоя на уровне второго этажа, поливал тонкой, еле писающей струйкой огонь. Струйка, не долетая до огня, превращалась в пар. Ясно было, что своими силами огонь потушить не удастся. Побежала звонить пожарным. Долго рассказывала, что и где. Пообещали, вызов приняли. Бросилась в дом, чтобы что-то вынести. Голова из последних сил отказывалась понимать и принимать ситуацию. Почему это дом должен сгореть, ведь мы его совсем недавно построили! Зачем спасать добро, мы же потушим огонь! Сейчас вот приедут пожарные и потушат! Какая-то психологическая пелена просто. Но я ее быстро сбросила, как что-то материальное, и начала сборы. Первым делом метнулась на второй этаж и выгребла из шкафа все мужние костюмы – ему ж завтра на работу! А вторым делом уже ничего не успела – стала кашлять и задыхаться, на втором этаже кислорода уже практически не было. Выбежала на воздух отдышаться. Вдруг с соседнего участка, легко перепрыгнув забор, выскочили, как лани, четверо коренастых мужичков и поскакали в дом. Все лето от соседей раздавались строительные звуки – то пилы, то молотков, то просто матерные переговоры о чем-то высоком – молдаване строили дом. Видимо, хозяйственные дядьки не смогли бездейственно смотреть, как горит добро, пускай даже чужое, и приняли единственно правильное в таком случае решение.

– Хозяйка, чего выносить? – спросили на ходу.

– Что сможете...

Через несколько минут двое вытащили холодильник с продуктами – самое, видимо, дорогое с точки зрения строителей. И бросили его, большого и белого, на зеленую траву посреди лужайки. Холодильник дернулся в агонии, дверца открылась, из пакета полился на землю вчерашний недопитый кефир и, нехотя переваливаясь, выкатилась по блату добытая докторская колбаса. Молдаване снова ускакали в дом, я следом. Двое пыхтели в дыму над огромным дубовым столом, пытаясь его протиснуть в дверной проем, но это им не удавалось, и, бросив кра-

савец стол, схватили нелюбимое кожаное кресло и стулья. Я стояла посреди комнаты, не понимая, за что хвататься самой. Подняла зачем-то с полу сосиски – недоеденный завтрак кого-то из детей, подумав очень вовремя, что опять за собой не убрали. Взяла какой-то цветочный горшок, торшер и вынесла эти важные вещи во двор к холодильнику. Сбегала посмотреть, как справляется муж. Муж не справлялся. Огонь уже бушевал по всей крыше, сжирая несжигаемое.

– Вынеси ружье, оно в сауне! – был отдан мне приказ. – И больше не входи в дом, может газ рвануть!

Я забежала за ружьем, прихватив по дороге что-то еще совсем неважное, и выставила все это у дома на веранде. Из двери уже валил дым. Мужики, спотыкаясь и кашляя, выволакивали стулья и кресла, успев вытащить даже тлеющий ковер. Постелили его на газоне подальше от дома, сверху поставили кресло, стулья и торшер, еще какой-то пуфик и лавку из прихожей. Всё. Пришли, не спросясь, и так же молча ушли, не сказав ни слова, снова легко перепрыгнув через забор и исчезнув в глубине соседского участка. Спасибо им за все большое. Тогда даже не сообразила поблагодарить.

Мы открыли ворота в ожидании пожарных. Сразу набежали какие-то люди, разные, незнакомые друг с другом, но объединенные любопытством и желанием поживиться хоть чем. Некоторые пытались заскочить в пылающий дом и урвать что-то, другие довольствовались тем, что было в сарае, вынося оттуда лопаты и грабли и убегая что есть силы за ворота с инструментом наперевес. Муж пытался как-то организовать движение мародеров, но попытка не удалась, они явно превосходили количеством. Зато столько мата от дорогого мужа я еще никогда не слышала! Плонув на лопаты, часть зимней резины и подшивки старых газет, унесенные добрыми людьми за ворота, мы вышли встречать пожарные машины, которые уже с шумом и воем ехали по нашей улице.

Второй этаж красочно и дымно горел, внутри ухало, шипело и взрывалось, мародеры воровато разбегались по участку, дети, видимо, привязанные мамой к стулу, торчали в окошке родительского дома, пепел в буквальном смысле сыпался на голову, от земли рядом с огнем начал идти пар.

Жизнь шла своим чередом.

Муж стал разбираться с пожарными, а я пошла на полянку и села в кресло, заботливо поставленное рабочими на ковер. Холодильник рядом, хоть и лежа, стулья, расставленные, словно в ожидании гостей, какие-то книги, торшер у кресла, пуфик, мужнины костюмы, тарелка с недоеденными сосисками – что ж, совсем неплохо, чтобы начать новую жизнь!

Я спокойно и расслабленно стала наблюдать, как сгорала моя жизнь прошлая. Первый этаж еще держался, но видно было, что из последних сил, шипел, посвистывал, шевелил занавесками, вроде как прося о помощи. Вот уже и дым стал отовсюду валить, разноцветный, целиком зависящий от того, что в данный момент пожирал огонь, пластик ли, дерево или какие-то железки. Вспомнила почему-то ритуал кремации в Индии, где прожила три года. Тело кладут на пирамиду, сложенную из поленьев, и все члены семьи участвуют в отправлении родственника в лучший из миров – кто-то подливает в огонь благовония, кто-то масло, другие сыпят лепестки цветов и сандаловый порошок, какие-то пахучие специи, молоко, много чего еще, особый сложный ритуал, а главный скорбящий – старший сын покойного. Его бреют наголо, одевают во все белое – там это цвет траура, и он молча следит за происходящим. А через два часа – именно столько времени горит человеческое тело – раскалывает палкой обгоревшую голову матери ли, отца ли, чтобы выпустить душу в рай. Вот и я, как старший бритый сын, сидела и смотрела на горящий родной дом, сжигающий все то, что было в моей жизни до этого момента, – вещи, оставленные отцом, его бесценный архив, большую библиотеку, бабушкины

колечки, милые, не особо дорогие, но ведь бабушкины же, фотографии прапра на стене в старинных рамочках, единственные и безвозвратно сгорающие, – ах, как жалко, что не бросилась за ними в последнюю минуту! Все вроде материальное, но оживляющее мгновенные воспоминания и эмоции. Так огонь и добирался до воспоминаний, хотя я раньше не думала, что и воспоминания могут гореть.

Вон там, где черный дым, слева от двери висела фотография, где я, совсем маленькая, 2–3-летняя, в красивом пальтишке и шапчонке, иду к папе, а он, такой огромный, сидит на корточках и ждет меня, чтобы оказаться со мной на одном уровне, чтоб я могла ему прямо в глаза заглянуть и обнять. Он тогда привез мне трехколесный велосипед, прямо из магазина, синенький, с махонькими педальками, закрученный почему-то в коричневую промасленную бумагу. Помню запах машинного масла из детства, наверное, от него, от этого велика. Велика на той фотографии нет, он за кадром, совсем еще некрасивый, закутанный и вонючий. А потом, когда его раздели, отмыли и протерли какими-то тряпками, когда он стал блестящий и яркосиний, это был настоящий восторг! Папа держал руль, согнувшись в три погибели, а я гордо ехала, подняв ноги так, чтобы дурацкие педали не били меня. А потом научилась, освоилась, осмелела и гоняла по нашему круглому дворику, посередине которого на высоком-превысоком черном бронзовом постаменте сидел старенький дяденька-писатель в таком же черном бронзовом, как и он сам, кресле, держал в руках бронзовую книгу и, нахмурившись, думал о чем-то своими бронзовыми мозгами. Про дядьку мне рассказывала мама: он совсем не ел мяса, писал взрослые романы без картинок, иногда про войну, иногда про мир, часто был недоволен тем, что написал, и заставлял жену все переписывать по многу раз, а она, помимо всего прочего, еще рожала ему детей. А потом, когда он окончательно постарел, то разулся и ушел из дому куда глаза глядят, так мне мама рассказывала. И у писателя на голове все время сидели птицы и какали. Я удивлялась со своего велосипеда, зачем так высоко надо для этого забираться. Мне не нравилась закаканная голова писателя. Белое на черном ведь очень заметно. У дяди-писателя даже менялись черты лица из-за голубиной пачкотни – то глаз потечет и вроде как начинает противно подмигивать, то лоб перережет длинная белая линия, и дядя еще больше нахмурится. Дворник не смел лезть шваброй в лицо писателя, боялся, что неправильно поймут, хотя и сам страдал от такого непорядка в самом центре вверенной ему территории. Вокруг дяди каждый год высаживали веселые оранжевые бархатцы, бархотки, как их называла бабушка. Они очень пахли, особенно в жару. Взрослые этого запаха почти не чуяли с высоты своего роста, я же каталась кругами в самом эпицентре запаха, глядя на оранжевое близко-близко.

А еще на горевшей стенке висела большая фотография моей совсем маленькой мамы, сидящей на горшке посреди нашего круглого двора на Поварской! Рядом бабушка, молодая, звонкая, смеющаяся и счастливая – у них тогда была безумная любовь с дедом, они не могли друг без друга дышать и оба умирали от любви к маленькой дочке. Фотография, пропитанная счастьем, несмотря на ночной горшок!

Воспоминаний было предостаточно, они толпились в голове, всплывая одно за другим, вытесняя друг друга, и по непонятным мне причинам я почему-то вспомнила про литографии Фернана Леже. Их было две, большие, яркие, четкие, красно-желтые, изображающие сплетенные абстрактные тела. Их нам подарила Надя Леже, его вдова, которая жила совсем рядом, в Переделкине. Дорогушие, музейные, хорошо горящие, как и любая другая бумага.

Огонь небось уже добрался и до моих праздничных сари, в которых я щеголяла в Индии и которые мне шили на заказ – да, сари шьется, вернее, его верхняя часть, а нижняя красиво обматывается вокруг бедер. Вот и вспомнила вдруг, как старик портной показывал мне, как именно надо надевать сари, сколько нужно делать складок, и важно щеголял в моем сари по комнате, а я делала вид, что мне совсем даже и несмешно.

Воспоминания вытеснялись одно другим, мешались в кучу, реально пульсировали в голове, будто я была подсоединена к дому какими-то невидимыми проводами и этот пожар заставлял меня вспомнить все перед тем, как навсегда стереть. Вспомнила еще, как на первую зарплату купила не что-нибудь, а икону, Троицу, не будучи сильно верующей, но вот купила, хорошего письма, прорисованную, ценную, намоленную. Руки к ней сами потянулись, приобрели, как ребенка, я даже удивилась. Купила. Повесила на стену в спальне.

Так и шла мысленно по горящему дому, смотрела, что сжигается, наблюдала, задыхалась вместе с домом.

Детские рисунки, мои и детей, которые лежали в старой синей папке с длинными белыми завязочками в ящике письменного стола, зарисовки художника Стасиса Красаускаса на салфетках и листочках моих школьных тетрадок – лошадки, зверушки, птички. Это было припрятано отдельно, среди писем и документов, в старинном секрете красной мебели. Хранила всегда эти милые мелочи, никогда ничего не выбрасывала. Картины мои горели, глупые детские попытки рисовать. Горели и попытки. Огонь подчищал все. А я была в этот момент в параллельном каком-то мире, одновременно сидя перед горящим домом на лужайке и перемещаясь в дыму воспоминаний, в состоянии транса, сверхъестественной радости и незабываемого счастья. Часть меня горела в огне, часть обновлялась, моментально и по-фениксовски, на углях прошлой жизни.

Хлопки и свист пуль вывели меня из транса. Занялось крыльцо, куда я только что выставила винтовку и патроны. Вот они-то и стали взрываться. Пожарные во главе с командиром вмиг залегли за могучими березами, чтобы по глупости не нарваться на пулю. В общем, вместо того чтобы тушить пожар, пожарные стали вести партизанскую войну, по-пластунски перемещаясь от дерева к дереву, чтобы укрыться от пуль невидимого врага. Когда все патроны, наконец, взорвались и пожарные поднялись во весь рост, настала очередь газа. Раздались хлопки. Пожарные привычно плюхнулись оземь. «Пусть лежат, – подумала я, – спасать уже все равно нечего». И спокойно пошла в родительский дом к маме и детям.

Пожар разделил нашу жизнь на до и после. Дети вдруг повзрослели. Они стали приходить из школы с вещами, которыми с ними делились одноклассники, – ручки, учебники, пять потертых портфелей, толстовки, майки, носки – все это складывалось в тюки в углу раздевалки с надписью «для погорельцев», для моих детей то есть. Поняли, как это – быть в центре внимания, пусть даже в таком центре, когда школьники показывают пальцем и тихо спрашивают: «Это у них дом сгорел? Это они погорельцы?» Когда деньги несут не взрослые, а дети, сэкономившие на завтраках, и суют, стесняясь, в руку, когда вот так, на виду, когда они стали главными школьными новостями.

А после уроков дети шли на родное пожарище и палками разгребали мусор, пытались найти хоть что-то знакомое и дорогое. Книжку детскую обгоревшую нашли, книжки вообще плохо горят, как оказалось, сгорают по краям, а текст иногда даже можно прочесть. Сплав нашли, лепешку металлическую – то были мои серебряные цепочки в прошлом, а сейчас превратившиеся в какую-то дурацкую неровную пуговицу. Бесформенный металл, детали, кран из ванной, спаянные книжки, чугунная рамка со стены, в которой была фотография прабабушки, – вот те сокровища, которые они выудили из угольной сгоревшей земли. Разгребали черными пальцами и говорили: «А помнишь, в гостиной висело?», «А помнишь, в ванной наверху кран этот заел однажды?»

И гладили как какую-то реликвию уже никому не нужные вещи. Потом снова отправлялись на охоту и снова копались...

Долго мы так жили у пожарища, наблюдая грустную картину из окон родительского дома.

Снег в ту зиму запорошил черный прямоугольник, но обглоданные торчащие трубы все равно напоминали о сентябре, и никакие потом сугробы скрыть их все равно не могли.

Как придумалась «Частная коллекция»

Больше всего я переживала из-за исчезновения библиотеки и фотографий. Этого никак нельзя было ни вернуть, ни восстановить. Книги собирались всю жизнь, подбирались по вкусу, как необходимая и только тебе нужная пища, что-то нравилось и никогда не выносилось из дома, припрятывалось и ставилось под замок или в крайнем случае на верхнюю полку, другие книги спокойно могли путешествовать от знакомых к соседям, но я всегда следила за их перемещением и возвращением на родное место. Книжки обязательно ведь надо возвращать, верно? Один раз в ранней юности у меня увели любимую «Анжелику – маркизу ангелов», и я запомнила эту обиду на всю жизнь – как быстро обещали прочитать, как клятвенно божились вернуть, как пропали сразу же, не оставив следа, уже и не помню кто. А я читала-перечитывала ее, совсем девочкой, была она для меня, эта Анжелика, идеалом женщины, она, французская кокотка, а не какая-то там Наташа Ростова или очередная тургеневская барышня. И все эти приключения, наряды, вздохи, сабли, кавалеры, ах, даже короли – не шли ни в какое сравнение со скучной пыльной жизнью отечественных героинь, так ненавистных еще со школьной программы по литературе. И вот, увели мою Анжелику. Детская травма, запомнила. Поэтому к возврату книг всегда относилась с особым тщанием и аккуратностью.

А теперь возвращать было нечего и давать почитать тоже. Зная, что это расстраивало меня больше всего после пожара, друзья стали дарить мне книги, свои любимые, по собственному выбору, фантастику, стихи, альбомы с картинами великих художников. В этом был особый интерес. Я, принимая такие подарки, будто еще ближе узнавала людей, ничего специального для этого не делая, а только читая их книги. И случалось, что хорошие знакомые вдруг мною отдалялись после попытки настоять, чтобы я прочитала пять книжек жития какого-то самопровозглашенного современного святого из глубинки. Я начала чувствовать подвох, и мне вдруг стало неловко говорить с ними на обычные бытовые темы. А вскоре они вообще пропали с горизонта.

Или вдруг далекие от нас знакомые знакомых становились за короткое время почти родными, погрузив нас в мир столетнего одиночества Маркеса и средневековой монастырской жизни Умберто Эко, ранее никогда мною не читанных и не пробованных. Но чаще всего я получала в подарок альбомы с репродукциями картин – неподъемные, толстые, значимые, посвященные или одному художнику, или целому музею. Очень часто я их, альбомы эти, листала и вроде как путешествовала. А однажды вручили огромный фолиант – «История портрета» – от египетских фресок до самого современного арта. Разглядывала эти нарисованные лица и думала: вот прошло тыщ пять лет с тех пор, как фрески эти были нарисованы, но люди, в принципе, мало изменились. Черты лица, я имею в виду. А за последние сто с небольшим лет, когда появились самолеты, стало можно летать, расстояния вроде как схлопнулись и до любого конца земли рукой подать, началось сплошное кровосмешение, в результате чего черты лица у людей немного усреднились и выровнялись. Раньше же можно было по портрету определить, какого роду-племени человек, корни его, статус, все-все. Рисовали картины для себя, чтоб детям-внукам оставить, развесить в парадных комнатах – смотрите, потомки, любуйтесь! А по современным портретам уже сложно оценить, где человек родился, скорее даже совсем невозможно.

В нашей семье портретов почти не было писано, лишь несколько – бабушки Лиды, карандашный, видимо, где-то на отдыхе написанный рисунок и папины, которые присылали обычно его почитатели – от жутчайших и абсолютно бесталанных до вполне мастерских картин. Один такой, на мой взгляд, музейный портрет отца, выложенный мелкой мозаикой, сделанный с большим вкусом и настроением, был просто-напросто украден у нас, вынесен, видимо, кем-то из малознакомых гостей – когда, при каких обстоятельствах, не знаю.

И вот, рассматривая подарочные альбомы, поймала себя на мысли, что многие эти нарисованные люди, уже ушедшие сто-двести-триста лет тому назад, бывают очень сходны чертами с современниками. Или современники с ними. Листала и старалась узнать, кто на кого похож, прямо началась игра какая-то. Таких лиц оказалось действительно много. Вот и подумала я тогда: а что, если наших известных людей – актеров, писателей, певцов – поместить в рамки одного, специально подобранного для них портрета? Сделать грим, построить декорации, как на картине, найти или сшить такую же одежду. Своего рода игра для взрослых, почему нет? Для игры надо было придумать правила. Главное правило – узнаваемость. Чтобы не расшифровывать, что за человек перед вами, вы же его давно знаете! И не писать, что он, скажем, актер или певец, а просто – имя и фамилия, говорящие сами за себя.

Все думала и обдумывала, не знала, как подступиться. Но вот зашла однажды в издательство к компьютерщикам по каким-то делам и увидела там главную редактриссу только что придуманного журнала «Караван историй». Редактрисса была сильно занята, она с помощью фотошопа до неузнаваемости изменяла лицо девочки-манекенщицы. Не сама, конечно, изменяла, а давала мудрые указания компьютерному дизайнеру. Девочку ту несчастную сфотографировали для обложки одного из первых номеров. Редактрисса пыхтела и краснела, результат ей не нравился.

– Не, нос уродский, надо поднять, чтоб ноздри были видны... И глаза очень близко посажены. Разведите их подальше! Вот так... А почему так зубы торчат, прикус дурацкий какой-то! С прикусом поборемся, а то на кролика похожа... Жуткая харя какая-то получается, нечеловеческая... – вздыхала редактрисса, постоянно требуя изменений.

После получаса работы над бедной моделькой от ее прежнего врожденного лица не осталось и следа. Новый же образ с обложки напоминал почему-то престарелую, абсолютно замороженную барби с круглыми окуными глазами и почти без носа. Такое лицо скорее годилось бы для журнала «Пластическая хирургия – за и против». Даже, скорее, против в данном случае.

– А чего девочка скажет, когда увидит, что с ней сделали? – поинтересовалась я.

– А чего она может сказать? Рада будет, денег дали, вот пусть и молчит!

«Караван историй» был совсем новым журналом, только придуманным моим тогдашним мужем, президентом издательства «7 дней». Совсем свежим, такого формата у нас в России еще не было, печатались только переводные, заграничные, а тут про наших: истории, интервью, романы, полуроманы, все вместе, исторические персонажи, современные мутанты, прошлое, настоящее – словом, сама жизнь...

Мне поначалу нравилось ходить новоиспеченной президентшей вместе с мужем на приемы и концерты. И вообще, приятно было быть местечковой королевишней: вокруг тебя такой микромирок, все вежливые, заботливые, улыбчивые, помогают – машины-поездки-ремонт, все делается вроде бы само собой, живи и радуйся!

Но скучно как-то стало почти сразу. Когда все можно-то! И без усилий! А делать чего? Президентша – это звучит гордо, но как-то глупо, бессельно и непрофессионально. В общем, надо было срочно куда-нибудь от этого ярлыка боком-боком. Не в смысле бросить президента, а в смысле заняться делом.

Пока была в раздумьях, вышла еще одна обложка с искусственной девахой, потом еще, у елочки, Новый год был, значит. Лица на трех обложках выглядели абсолютно одинаково, хотя девочки были разными. Видимо, это был идеал красоты, о котором мечтала редактрисса.

Посмотрела я на этих дев и решила, что надо красоту творить самой. Или вытворять. Почему нет? Свободного времени – воз и маленькая тележка, одни дети подросли, другой намечается внутри, работе не помеха, пусть привыкает!

Аллегорова и Нефертити

Так я и решила начать новый фотопроект сразу, не откладывая. Стала думать, кого бы первым пригласить на съемку. Решила – Иру Аллегову. Мы с ней были давно знакомы, она жила на одной лестничной площадке с моей близкой подругой и крестной детей, Сашей Гречиной. Дом простой, блочный, совсем не пафосный, с кошками в подъезде, вечно сонными старенькими консьержками и с разрисованными понятными словами лифтами. Хотя лифтом я никогда не пользовалась – Сашка с Ирой жили на первом этаже. Ира шикарно готовила и часто приносила на Сашкины дни рождения свои собственноручные аллегровские пирожные и муссы, так не похожие на магазинные. В то не самое сытое время она иногда делала знакомым сладости на заказ. Пела тогда в очень популярной группе «Электроклуб», и репетиции часто проводились у нее в маленькой квартирке. Соседи не роптали – Сашка своя, привычная, а снизу шваброй стучать никто не будет, первый этаж все-таки. Хотя я видела, прохожие иногда пританцовывали за окном под электроклубную музыку. Потом Ира купила дачу на Пахре у Оскара Борисовича Фельцмана, папиного близкого друга, переехала туда с концами, и мы стали совсем редко видеться. Тем не менее я позвонила ей первой из всего длинного списка своих друзей и знакомых и была почему-то уверена, что она согласится.

Объяснила ей задумку, предложила то, от чего невозможно отказаться, – сделать портрет Нефертити. Не совсем, конечно, портрет – бюст, тот самый, длинношей, который повсеместно известен, который во всех учебниках по истории Древнего Египта и всех альбомах по искусству. Решили снять профиль, бюст ведь можно крутить как угодно, это же не картина. Ракурс этот для человека не совсем обычен и не всегда нравится, себя же в профиль не видно. Но тут отважились попробовать. На самом деле я очень долго мучилась, с чего именно начать свой проект. И из всего огромного количества шикарных живописных портретов остановилась почему-то на скульптуре.

Нефертити

Ее раскопали в пустыне сто лет назад и выставили в Берлинском музее. Первый раз, когда увидела царицу, не могла сначала понять, что в ней такого особенного, почему взгляд липнет к ней, цинично разглядывала, как неприкрытую наготу. А она завораживала, как удав.

Маленькая, непропорциональная, с выцветшими красками, обшарпанная головка на жирафьей шее обладала абсолютной властью над теми, кто смотрел на нее, будоража фантазии и вгоняя в ступор. Долго я стояла первый раз, да и потом уже, не помню сколько, пялясь на диковинную скульптурку, представляя, какой была эта девочка-девушка-женщина, как была отправлена двенадцати лет от роду из своей Месопотамии в качестве подарка фараону и стала одной из сотен иноземных наложниц. А еще говорят, что она могла быть ему родной или сводной сестрой. А могла быть и дочкой фараонова вельможи. Много чего говорят, но точно никто не знает. Хотя, скорее всего, была она иностранкой, не случайно имя ее переводится как «красивая пришла», а потом ее прозвали «Совершенная». Хотя на мой современный славянский взгляд до совершенства ей было далеко – слишком узкое лицо, некрупные, но очень выразительные глаза, длинноватый тонкий нос и слишком полные губы, про такие сейчас говорят «перекаченные».

Вот в нее, в красивую, влюбился фараонов сын и после смерти отца сделал своей царицей, а она родила ему шесть дочерей. Но вы же понимаете, что это за царица, если не может родить сына? Вот фараону и пришлось взять вторую жену, она и разродилась наконец долгожданным сыном, который нам всем известен. И мы без запинки можем назвать его малоизвестное имя – Тутанхамон. С того времени началась опала Нефертити, не очень ясно по какой причине. Документально не ясно. Но я догадываюсь, что дела житейские – или поднадоела мужу за 12 лет

совместной жизни (а это бывает сплошь и рядом), или лезла, не спросясь, в государственные дела, или кто-то наговорил на нее, но вот охладел к ней фараон и отстранил от царских дел и своего ложа. А потом мало чего о ней было известно, как жила, когда и как умерла – фактов нет, но ходят легенды, что убили и зверски изуродовали тело.

Мстили за ее счастливую жизнь.

В общем, выбрала я Нефертити.

Мне нравился этот спокойный, чуть властный взгляд, полуулыбка, маленький аккуратный носик, необычный головной убор, широкое украшение, закрывающее плечи, яркий раскрас лица, инопланетная шея. Много косметики – глаза жирно подведены сурьмой, ярко намазанные губы, ровный слой пудры из растертых минералов на лице, как подобает царице. А еще она – не Аллегрова, а Нефертити – красила ногти жидким золотом, любила солевые ванны, обожала парики с косичками и блестящими заколками, предпочитала полупрозрачные платья и увлекалась украшениями – в каждой мочке носила по две сережки. Образ абсолютно современной женщины, правда? Хотя совсем не современной была ее губная помада. Сначала Нефертити красила губы ягодной смесью – ягоды, растертые с жиром, но выглядело это неряшливо и от жары всё быстро плавилось и съедалось, а цвет долго не удерживался. Потом царица перешла на растертый с пчелиным воском сурик. Свинцовый сурик, кирпично-красный минерал, придающий губам темно-оранжевый блеск, был красив, но далеко не безопасен. И если Нефертити мазала губы суриком, то знаете, чем пах ее поцелуй? Ржавчиной! А это уж совсем не романтично.

В общем, к первым своим съемкам готовились долго. Я и не подозревала даже, что выбрала настолько сложную для первого раза работу – соорудить фараоновы украшения в домашних условиях оказалось не так просто! Нужно было сделать высокий головной убор и наплечное украшение – пектораль, как выяснилось, – оно дорогое, тяжелое, из золота, лежа на фараоновых плечах, отражает солнце и его же символизирует. Вроде как зримая связь царя с богом солнца. Помимо золота на наплечнике были узоры из разноцветной эмали, множество самоцветов, в основном почему-то синих и красных – лазурита, бирюзы, корналина, сорта агата или сердолика и несколько рядов стеклянных разноцветных бусин. В одежде и в ювелирных украшениях использовались тогда в основном три цвета – синий, голубой и красный. Камни в ту пору гранить не умели, поэтому никаких сияющих бриллиантов, сапфиров и прочих рубинов еще не было. Серебро почти не использовали, оно хоть и было уже известно в ювелирном искусстве, но стоило тогда гораздо дороже золота и, видимо, не очень нравилось за свой по-северному холодный блеск. Это ожерелье должно было прикрывать плечи и спускаться до середины груди. Делать нам пришлось его для Аллегровой самим и из подручных средств. А подручные средства – это что? Правильно! Золотая оберточная бумага и мамины украшения – всякие сувенирные бусики из разных стран, остатки бабушкиных винтажных украшений, побывавших в моих детских руках. Все вынули из закровов и тщательно отобрали детали для Нефертити, а остальной хлам выкинули в помойку.

Долго прилаживали и пристраивали, а они по бумаге соскальзывают, равномерно не лежат, та еще царская пектораль. Но закрепили кое-как, красиво получилось, богато, по-фараоновски, Нефертити бы точно позавидовала! Ну и тиару, головной убор, небыстро из ватмана склеили, ее же надо было обтянуть синим шелком, приладить бусины и цепочки. В общем, вспомнила школьные уроки по труду – даром не прошли!



Ирина Аллегрова – Нефертити

В назначенный день и час пришла Аллегрова-Нефертити. На гриме я тогда решила сэкономить, мало его было, тем более что делала тогда его сама. Посажу ее в профиль и покрашу лицо только на одной стороне лица, решила я. Подводка для глаз у древних египтян была из малахитовой пудры, растертой с маслом, глаза подводили густо, длинно, до самого виска – изначально так было принято, чтобы защитить глаза от инфекций и болезней, в тех широтах это было частое дело, красились и мужчины, и женщины всех сословий, а потом попривыкли, стали делать это не только ради здоровья, но и ради красоты. В общем, глаза у египтян, судя по всему, были слабым местом. И в эту жирную подводку могло входить все что угодно – мед, охра, алоэ, ляпис-лазурь, экскременты крокодила, рыбья желчь, глазная жидкость свиньи, человеческий мозг или молоко женщины, родившей мальчика. Почему-то именно мальчика. Растер мозг с сурьмой, покрасил глаза и, грубо говоря, прозрел. Брови и ресницы чернили специальным порошком, скорее всего, тоже сурьмой, а краску для век делали из тертого в пудру сернистого свинца. Не очень полезно, думаю. Но Ире мы так делать не стали, а все получилось красиво и полезно – при помощи французской косметики, а от древнеегипетского разнообразия отказались. Правда, когда современная Нефертити повернулась в фас, то лицо оказалось жутко перекошенным – одна часть была густо напозажена тяжелым египетским загаром, глаз, обведенный могучим слоем подводки, уходил куда-то за горизонт, к уху, а другая половина лица, исконно аллегровская, утренняя и девственная, не была тронута даже тональным кремом. Зато загримированный профиль выглядел фантастически! Ни один фараон не устоял бы!

Вот так, с Аллегровой-Нефертити, было положено начало «Частной коллекции».

Еще одной из первых опубликованных фотографий в «Караване» стала «Царевна-Лебедь» Врубеля. Это превратилось в первый философский спор, грозящий перейти в судебное разбирательство. Разразился вселенский скандал – я получила письмо от директора Третьяковки, который жутко пугал меня законом об авторском праве и требовал, чтобы я непременно платила музею за использование малюсеньких фотографий всех третьяковских картин, если вздумаю снимать по ним сюжеты. И сказал, что его вполне устроило бы 10 процентов от тиража. Видимо, жил он тогда еще по законам 90-х, и ему очень хотелось каких-нибудь левых доходов. Так мне стало обидно за Врубеля, за Васнецова с Серебряковой, за Крамского с Брюлловым и других моих любимых художников! Почему же нельзя лишний раз напомнить о них, показать репродукцию с указанием музея, где картину можно посмотреть живьем? Почему директор решил, что все картины теперь собственность музея и он только сам вправе ими распоряжаться? Ведь 50 лет после смерти автора точно уже давно прошло, а значит, никому ничего не надо платить. Да, картина становится собственностью государства, но не лично какого-то дяди, который временно занимает в музее высокий пост.

А потом директора со скандалом почему-то уволили за коррупцию...

Надо же...

Съемки по благу

Объяснить с первого раза задумку моего нового проекта было довольно трудно – взрослые, известные, самодостаточные люди, цвет, так скажем, страны, побоялись бы, наверное, принять в нем участие – зачем это им нужно переодеваться в кого-то, делать зачастую тяжелый театральный грим, надевать парики и преображаться до неузнаваемости. Поэтому решила начать с богатого отцовского наследства – папиных друзей, которые давно стали частью нашей жизни, – Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Галины Волчек, Оскара Фельцмана, Елены Образцовой, Никиты Богословского, Людмилы Гурченко, Леонида Рошаля, Анатолия Кузнецова и еще многих-многих любимых.

Не отказался никто, многие из почтенных родительских друзей даже не спрашивали, в чем суть проекта, просто приходили и снимались. Большое всем им спасибо!

Когда знакомые закончились, то есть были отсняты и уже опубликованы в журнале «Караван историй», стало намного легче обращаться к незнакомым «звездам».

Сначала работа была организована очень по-домашнему и, надо сказать, совсем непрофессионально – неопытные и случайные гримеры с одним годным или скорее негодным на все случаи жизни, измученным париком, коробочками измусоленного замученного грима, ужасными маскарадными костюмами, взятыми черт-те где напрокат, и листом школьного ватмана вместо фона – смешно вспомнить!



На открытии моей выставки в Музее Декоративно-прикладного искусства с Михаилом Державиным, Роксаной Бабаян и Львом Лещенко

Первое и довольно долгое время съемки проходили у меня дома в гостиной. Было это сначала очень даже удобно – дети, тогда еще не сильно взрослые, под присмотром, необходи-

мые предметы, мебельная красота – всё можно притащить из соседней комнаты или вообще перейти туда для смены интерьера. Опять же кухня рядом со свежесваренным чаем, сырниками и всяким разным бесполезным, но очень вкусным. Детей собственных, надо сказать, тоже иногда снимала, пользуясь своим служебным материнским положением. Не всех, а только двух старших – маленький почти ровесник проекта. Я вынашивала и его, и сам проект одновременно, раздумывая, как и что, готовясь родить проект, как и Даньку, консультируясь, взвешивая все «за» и «против». Лазила с огромным животом на стремянку, пытаюсь найти опору и надеясь, что он меня не перевесит, держала тяжеленный фотоаппарат, но все равно с удовольствием снимала, совершенно не обращая внимания на временные беременные трудности. А в самом конце 2000-го помню смешную съемку, когда сама почти на сносях, снимала тяжело-беременную Катю Стриженову. Толкались мы с ней животами, помню, еле в дверь пролезали, а через неделю-другую разродились – она дочкой Александрой, а я Данькой, моим младшим. Пошла, родила без шума и пыли и через положенные пять дней вернулась домой, в студию, на свое рабочее место. Сбегаю, покормлю мальчика да и обратно снимать народ. Удобно, чего уж говорить.

Старшие мои особо и не сопротивлялись – от предложения сняться для «Каравана историй» трудно было отказаться. Был у меня такой фотопроект – «Классика», где я снимала людей в классических образах, любых, наших, не наших, шекспировских, тургеневских, одним словом, хрестоматийных. Вот и решила снять своего среднего, шестнадцатилетнего сына Митю в образе Ромео.



Мама с Галиной Волчек

А почему нет? Где я вам еще найду шестнадцатилетнего красавца? И зачем мне было где-то искать, когда вот он, в соседней комнате, к экзаменам готовится!

Ромео ведь именно шестнадцать и было. Вечному Безрукову предложить? Хабенскому? Машкову?

Куда им до Ромео-то с их житейским и любовным опытом! В общем, не справились бы, точно знаю! А тут под рукой Митька – родной – во-первых, красавец – во-вторых, такой ромео-ской судьбы я ему не желаю – в-третьих. Но это ж роль, пусть пробует.



Митя и Лиза Боярская – Ромео и Джульетта

Стала думать про Джульетту. По возрасту, конечно, не проходил никто – итальянке-то было около четырнадцати всего. Решила брать за красоту и обаяние. Искала среди москвичек, прямо как в жены сыну – эта милая, но полненькая, задавит, та худенькая, но пошленькая, совратит, а эта нрава тяжелого, капризного, вообще видеть не хочу. Пришлось взять иногороднюю, питерскую, Лизу Боярскую. Лиза не ломалась, согласилась, хорошего воспитания девушка.

Стала думать, как их снять. Балкона дурацкого не было, да и банально было бы, у всех одна ассоциация на тему Ромео и Джульетты: «Меня перенесла сюда любовь, Ее не останавливают стены, В нужде она решается на все. И потому – что мне твои родные?»

Поэтому детей я сразу уложила. Красивые такие, молодые, лежат на шелках и думают о Шекспире. Тут, конечно, хорошо бы маме с иконкой войти, но нет, сдержалась я, пошла фотографировать. В общем, мой подбор актеров на эту роль я скромно считаю лучшим из всех всемирно возможных вариантов!

Старшего тоже сфотографировала. Он организовал рок-группу, пели, выступали по долам и весям, получили на каком-то из эмитившихся праздников приз «Открытие года», вторую премию на фестивале «Пять звезд», в общем, показали себя во всей красе!



Мой Леша – крайний справа

Вот и решила я тогда снять Лешку со товарищи, чтоб всем вместе в одной картине, что-нибудь эдакое необычное, но такие картины искать довольно сложно, надо ведь, чтобы совпало по количеству народа, сколько мальчиков и девочек. Много коллективных портретов было написано по библейским сюжетам, но за такие темы я с самого начала решила не браться. А так больше всего групповых портретов сделано голландцами, скажем, Пикеном или Флинком, без особого сюжета, просто много народа, почти все в одинаковых позах, черные одежды, накрахмаленные белые воротники, береты – мы так в школе на выпускной фотографировались, чем-то очень похоже, и выражение лиц у нас у всех такое же испуганно-ошарашенное, видимо, в этот момент на нас шипела классная. В общем, такие портреты с большим количеством людей были тогда как доска почета – вешались в общественном месте, на виду и часто достигали очень большого размера, чтобы и стену закрыть, и значимость гильдии показать. Каждый из участников сам оплачивал свой портрет, и бои, конечно, шли нешуточные, кто, как и в каком ряду будет изображен, в три четверти сядет или в фас, видны будут руки или нет. Но для моей работы такие статичные портреты совсем не подходили, я искала сюжеты.

Нравился мне «Ночной дозор» Рембрандта, скажем. Хотя изначально он назывался совсем по-другому – «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга», скучно и длинно.

«Ночным дозором» назвали потом, спустя два века, когда остался виден один только капитан, а вся его рота еле угадывалась в ночи. Стояла я около нее долго, рассматривала, отходила, приближалась, шла в другие залы амстердамского музея и снова возвращалась к ней. Картина-прорыв, новаторский групповой портрет, который категорически не был принят заказчиками – гильдией стрелков, а если проще – отрядом народной милиции, на нем изображенным. Почему?

Потому что это было непривычно, не чинно-мирно, как в мужском скучном хоре – кто сидит, а кто сзади нависает, бессмысленно глядя перед собой, а кусочек жизни, сценка – выход

стрелков из маленького дворика на площадь, даже слышно, как они шумят и переговариваются! Хотя тоже групповой портрет, но живой, сюжетный, не застывший, мимо него так просто не пройдешь. Провисел он потом сто лет в большой темной зале этой самой гильдии стрелков, впитал в себя время пополам с гарью и копотью, а как же – постоянно тлеющие в камине угли, чад от жирных свечей и масляные факелы – вот все тогдашнее освещение. И уже даже забыто было, кто этот «Ночной дозор» написал, это стало просто украшением комнаты, одной из ее стен. Потом, еще через пару десятков лет, полотно потемнело совершенно и фигуры стрелков «Ночного дозора» стали растворяться в ночи так, что лиц уже нельзя было различить, и только тогда картину отдали на реставрацию простому амстердамскому художнику ван Дейку. Он-то и расчистил и имя автора на полотне, и переместил дозор из ночи в день, сняв сажу, и насытил амстердамский дворик солнечными рембрандтовскими лучами.

Ну вот, думала сначала взять фрагмент «Дозора» и сделать фото с Лешкиной группой. Но не подошло, не понравилось, трудно было вычленить пятерых, чтобы не развалился сюжет, да и сам сюжет тогда бы пропал. Нашла для них совсем другое, напыщенно-пафосное – «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу». Придела детей, английских послов, в колготки, совсем по моде того времени, наклеила усы-бороды, посадила царька, навалила драгоценного добра в сундук и сфотографировала ребят.

Совсем скоро они повзрослели, группа распалась, и стали они заниматься совсем другими делами. Лешка мой стал писать музыку к дедовым стихам, еще никем не тронутым. Зазвучали в нашей семье новые песни с непривычными по нынешним временам замечательными словами. Продолжает звучать отец уже через внука. Радость.

Родительские друзья

Да, родительские друзья принадлежали к особой касте. Я знала их с детства, кто-то с годами поднакапливался, кто-то отпадал, но со временем большая их часть превратилась практически в родственников, любимых, почитаемых, но, чего скрывать, вполне будничных. Музик, как у нас к нему обращались, Йосечка, Юрка Гуляев, Расульчик – поэт Расул Гамзатов, Маркуша – прекрасный композитор Марк Фрадкин, Оскарчик – любимый Оскар Фельцман, Ленька – Леонид Рошаль, наш с сестрой бессменный педиатр, Вова-Корова – Вова Резвин, старейший родительский друг, Феля Розенталь, Евтух – Евгений Евтушенко, Белка и еще, и еще... Так их звали у нас в семье, с любовью и уважением. Но не думайте, я не хвастаюсь сейчас броскими именами, известными если не на весь мир, то уж на весь бывший Советский Союз точно. Нет, они были, а многие и остаются частью нашей жизни до сих пор, мы проросли друг в друга: захочешь – не разделишь. И тогда, в 70–80-х они приходили в нашу длинную, как вагон, квартиру на Калининском, а потом в более солидную, на Тверской, очень часто, особенно после концертов, уже к ночи, вваливались роскошной праздничной толпой, шумно, весело, пьяно, ведь мы жили центрово и совсем недалеко от концертных площадок – незаслуженно снесенной «России» и похоронно-торжественного Колонного зала.

В 70-е, в расцвет магомаевской эры, Муслим дневал и ночевал у нас в буквальном смысле слова. Они с отцом много работали, папа писал для него песни, они часто репетировали у нас дома. Муслим тогда еще не был москвичом и когда приезжал в столицу на гастроли, то всегда останавливался в гостинице «Россия». У него был свой номер люкс на одном из самых верхних этажей, в башне. Однажды в этой башне случился страшный пожар, погибло много человек, но мы все благодарили Бога, что Муслим был в тот момент в Баку. Он возвращался к себе в номер в основном спать, а большую часть времени проводил или на репетициях, или у друзей. Очень часто заходил к нам на Калининский. Мама с бабушкой с порога усаживали его обедать, а потом он отправлялся к папе в кабинет, где они или работали, или играли в нарды, постоянно дымя, или он напевал новую песню в четверть, даже нет, в $\frac{1}{10}$ своего шикарного голоса. Нам казалось, что не так уж и громко, мы привыкли, но соседи все равно звонили в дверь, не ругаться, что вы, просто хоть взглянуть на живого Магомаева и попросить у него автограф. Даже консьержки приходили на дежурство со своими домочадцами, чтобы все, так сказать, прикоснулись к прекрасному. Или хотя бы посмотрели на него вблизи. Весь дом знал, что к нам ходит Магомаев. А наш дом на Калининском – это целых 24 этажа людей! И все эти люди, ну почти все, правдами и неправдами пытались у меня или у бабушки вызнать, когда именно должен появиться в подъезде сам. К маме с папой не приставали, понимали, что бессмысленно, все равно ничего не скажут. А на нас с бабушкой, видимо, была какая-то надежда.

– Катюнь, у вас сегодня вечером гости? – спрашивала Надюха с пятнадцатого. Это была бой-баба, настоящая глыба, просто сама-себе-царица, бывают такие! Но редко. Я ее побаивалась, признаюсь. Мне страшно было с ней зайти в лифт – она вдавливала меня в стенку могучим животом, я опускала глаза и всем своим тщедушным тельцем чувствовала, как мощно и в то же время жалобно бурчат ее кишки. А она просто не помещалась. На моем этаже она выпячивалась и басом разрешала: «Ну иди пока». Потом снова медленно загружалась в кабину. Она не была слишком толстой, она была по-настоящему могучей. Феномен! И было ей не так много лет тогда – 45–50, наверное. Она жила с родителями. Мужа ей так и не удалось найти под свои телеса. Папа ее был Сократом, мама Агнессой, оба были пожилые, но крупные, и фамилия у них была звонкая – Простатус! Фамилию в доме узнали не сразу, он все в Сократах ходил, этого было довольно, а потом его выдвинули на какую-то общественную должность и большими буквами написали на листке его имя целиком. Сократ покраснел и попытался объ-

яснить консьержке, что их фамилия статусная, так просто такую фамилию предкам бы не дали, видимо, хотя корней своих они не знают, как и многие в Советском Союзе.

Но мою бабушку-то не проведешь. Услышала она эти смешные объяснения, пришла домой и, фыркая от веселья, стала маме рассказывать, что фамилия Сократа – это простата полатыни и он даже на нее похож! Ты понимаешь, смеялась, он не «Про статус», а «prostatus»! В общем, вывела соседа на чистую воду. Но самое веселое – что когда бабушка рассказала об этой удивительной фамилии Муслиму, то он попросил хотя бы издали показать этого человека, Сократа Простатуса.

Что было потом, не знаю, врать не буду.

– Катюнь, бабушку, Лидию Яковлевну твою, сегодня с сумками видела, с рынка приехала. Гости вечером придут? – басом требовала ответа Надюха.

– Не знаю, я в школе была, а что? – наивничала я.

– Муслимчик будет? Ему навариваете? – краснела Надюха.

Она его любила.

– Теть Надь, я правда не знаю, кто сегодня придет.

– Но надежда есть? – спрашивала Надежда.

– Надежда есть всегда, – скромно отвечала я.

И вечером Надежда высаживалась на пост на первом этаже вместе с консьержкой, чтобы хоть краем глаза взглянуть на любимого певца. Однажды я увидела, какой была одна такая встреча. Мы приехали откуда-то все вместе – родители, я и Муслим со своей подругой Милой. Входя в подъезд, заметили, как с крепкого железного стула во весь свой двухметровый рост плавно поднимается Надежда Сократовна, делает два шага к Муслиму, сильно возвышаясь над ним, и начинает медленно, но верно сгибаться в поклоне, не опуская при этом лица вниз. Глазами она впериается в бедного Мусика, как удав, который, еще не съев кролика, уже начал его переваривать. Так она и осталась стоять, согнувшись пополам, пока Муслим не подошел к ней и не помог разогнуться. Она немного тогда даже пошатнулась от счастья – он до нее дотронулся!

А потом Надежда, чуть побрызгивая слюной и вытирая усики, шептала бабушке у лифта: «Лидия Яковлевна, вы понимаете, когда я его вижу, я чувствую, как у меня внутри шевелится яйцеклетка. Честно. Я это хорошо чувствую. А когда он до меня дотронулся, я чуть не потеряла сознание...»

Бабушка успокоила ее как могла, а вечером рассказала об этом нам с мамой и тяжело вздохнула, добавив: «Вот что с бабой безмужичье-то делает...»

В плане анатомии я была хорошо подкована, хотела когда-нибудь стать врачом, поэтому такие вещи вполне могли обсуждаться при мне, тем более что возраст был уже достаточно солидный, лет 13 точно. Но в тот раз я как-то очень близко к сердцу приняла этот бабушкин рассказ и красочно представила, как Надюхина яйцеклетка, мускулистая и мощная, как и сама хозяйка, размером, наверное, с кулак, а то и больше, потягивается, похрустывая членами, и начинает кряхтеть и ерзать при виде любимого певца.

Был еще один безобидный сосед, который поднимался к нам на этаж в костюме и галстук в разное время дня, а может, и ночи. Я часто его встречала, когда выносила мусор. У него было какое-то неопределенное, словно вчерашнее, лицо, совершенно не запоминающееся. Он здоровался и делал вид, что курит, хотя в руках никогда не было сигареты. А однажды тихо сказал непонятное, показав куда-то вверх: «Он еще не пришел к вам? Может, мы и встретимся, если автор этого захочет...» И снова посмотрел на потолок.

Хорошо помню тот первый раз, когда у нас в квартире живьем запел Магомаев. Соседи приучены к нему еще не были и поначалу шарахались, как от призрака. Как только раздался волшебный баритон, довольно тихо, надо сказать, в дверь позвонил заспанный сосед, обмотанный простыней, и попросил сделать радио потише, а то ему завтра чуть свет на репетицию. «Лидия Яковлевна, – говорит, – извините, конечно, мне рано вставать, а тут Магомаев по радио орет, хотя я понимаю, что вы люди творческие, но звук ведь можно и потише, у вас здесь не танцплощадка в Пицунде! Вы мне прям расчесываете нервы!»

Сосед был вполне приличным, из южан, пару лет назад осел в Москве и именно рядом с нами, в однокомнатной квартире вместе с вертлявым и крикливым фокстерьером и изредка, где-то раз в месяц, водил к себе на ночь баб не первой и не второй свежести. Работу свою любил – был суфлером в каком-то неважнецком театре, чем гордился и причислял себя к творческой интеллигенции.

– Так вот, Лидия Яковлевна, я вас уважаю, хотя уже забыл, за что, но вы женщина интеллигентная, образованная и понимаете, что такие творческие люди, как я...

Лидка, бабушка моя, стояла, слушала его какое-то время, мило улыбаясь, потом ласковым таким голосом позвала: «Мууусик! Тут к тебе пришли!»

Вышел на зов улыбающийся красавец Муслим, черноглазый посмотрел на соседа, у которого на лице прочиталось сразу всё: смущение, счастье, неловкость за свою несвежую простынку и голые ноги, восхищение, гордость за страну, удивление и совсем чуть-чуть зависти.

– Ооооо, выыыы, извините... Не верю глазам... Сам лично... Пойте-пойте, – запинаясь, сказал сосед. И дальше историческая фраза: – Не стесняйтесь... Почту за честь под вас уснуть!

А следующим вечером снова концерт, банкет в далеком ресторане «Баку» с микроскопическими, еще, по-моему, даже и не вылупившимися цыплятами табака, золотым пловом и тающей долмой.

Однажды, дело было вечернее, гостей к нам пришло, как обычно, много – голодных, послеконцертных, жаждущих выпить. Мама с Милой с порога бросились на кухню в готовку. Потихоньку еще подъезжал и подбрёдал народ. Быстро нарезали сырокопченую колбасу, чтобы настроить бутербродов и оттянуть голодные обмороки гостей, и вынули из морозильника водку, запотевшую, обжигающую, не дотронешься! Мы тогда как раз получили продовольственный заказ с огромным кровавым шматком говяжьей вырезки. Решили быстро запечь со сметаной и грибами – ничего проще и вкуснее быть не могло! Раз-раз, 20–30 минут животного ожидания, дикие взгляды гостей в духовку, постоянные вопросы «Уже всё? Готово? Это ж вырезка, ее можно полусырой, так даже полезней!» И вот, наконец, торжественно вынимается тяжеленная сковородища из печки, выносится, шкворча, на красную торжественную дорожку под одобрительные крики присутствующих, и вдруг какое-то неловкое движение, какое-то замешательство... и вырезка с грибами летит в сметанной волне прямо на продолжающих аплодировать гостей!

Немая сцена.

Больше всего вырезки и сметаны досталось тогда Оскару Фельцману, один кусок даже сняли с его ботинка. Но неужели вы думаете, что в то дефицитное время можно было вот так просто выкинуть упавшее на пол мясо? Что вы! Гости во главе с Муслимом поползли по полу, заглянули под стол, аккуратно собрали все мясо и отдали хозяйкам, нам, то есть, чтобы мы его помыли и выдали снова: «Да ладно вам, не выбрасывать же, другого горячего ведь нет...» Вот мы быстренько и произвели реставрацию блюда – пожарили лук, соединили с картошкой и многострадальной вырезкой, снова залили сметаной, вскипятили и теперь аккуратненько, чинно и не спеша притащили на стол новый вариант горячего блюда.

Это, практически, была реинкарнация.

Съели тогда все за милую душу, ели и нахваливали!

И так вечно, день за днем, привычно и почти без выходных. Я не про летающую вырезку, а про гостей.

У нас всегда был открытый дом, и к нам с удовольствием и совершенно не комплексуя шли люди и это легко можно было объяснить. Отцовский талант, природная настоящесть и доброта, помноженные на мамину открытость, красоту и обаяние, плюс бабушкино жизнелюбие и гостеприимность, притягивали к себе, превращали эти походы к нам домой во что-то необходимое и обязательное. Дым стоял коромыслом, мы с бабушкой простаивали в две смены у плиты, выворачивали из закромов все запасы, консержки без устали предупреждали о новых гостях, сестра постоянно бегала через дорогу в магазин за водкой и хоть какой закуской. И так случалось после каждого большого, да и маленького концерта. Это не значит, что юбиляры, которые отмечали торжественную дату, не устраивали банкеты! Конечно же, устраивали! Но самое смешное, что после банкета гости все равно шли к нам! Мы же рядом! И потом душевненько так просиживали до утра, поедая бутерброды и вспоминая, сколько еды осталось в уже закрытом ресторане на богатых банкетных столах! Вернее, сколько ее унесено официантами.

Мы всегда старались как-то выкрутиться, если было недостаточно продуктов. В не самые сытые 80–90-е годы, когда готовила в основном я, приходилось придумывать рецепты из ничего. В то время многие гости что-то приносили с собой из еды, это было вроде как положено: идешь к кому-то в дом – приноси еду, а как иначе? Поэтому именитые друзья скромно выкладывали на стол какую-нибудь консервину, бутылку, пачку сливочного масла или два апельсина, скажем, а потом уносили с собой от нас «что-нибудь вкусненькое» на завтра.

Самым ходовым «товаром», который нравился всем и всегда, были сосиски в тесте. И часто кто-то из гостей притаскивал нам сосиски с намеком на «сделать тесто». Мы выпускали сосиски на свободу из прилипучего целлофана, делили их пополам, один конец надрезали крестом, ненадрезанный закручивали тестом до половины и жарили в масле. Свободный конец раскрывался в масле цветком, тесто румянилось, и лучшего хот-дога во всем мире нельзя было найти! Такие «пирожки» часто улетали прямо со сковородки, не дойдя до блюда и тем более до гостей!

Однажды бабушка принялась их жарить сразу, как только мы вернулись с концерта Арно Бабаджаняна. Позднехонько так, как обычно, уже после фуршета. Все с удовольствием пошли к нам, и мне надо было как можно скорее накрыть на стол. Человек на 20–25. Вот сейчас пишу, и такое ощущение, что все всегда безумно голодали. Помню, как гости тихо, на цыпочках, пробрались на кухню, чтобы не дай бог не разбудить домработницу. Спит же человек, тише! Бабушка стала месить тесто, я резала сосиски. И тут на кухню вошел Арно Арутюнович и стал рассказывать нам анекдоты. Делал он это потрясающе! Рассказывает и ест готовые пирожки с сосисками с пылу с жару. Рассказывает и ест. Рассказывает и ест. Мы готовим и ржем. Готовим и ржем. Потом спохватились, а Арно почти все съел...

Чем кормили гостей в тот раз, уже не помню.

Гостей, которые постепенно переросли в наших друзей, катастрофически прибавилось в 70-е, когда папа начал писать песни. Круг знакомых раньше ограничивался в основном поэтами-писателями-художниками, а теперь разросся неимоверно за счет композиторов и исполнителей. Первую песню отец написал с Александром Фляковским, Фляркой, как называли его родители. А потом как-то очень быстро стал работать со всеми другими композиторами, которые в то время писали песни. В конце 60-х – начале 70-х у нас в стране случился какой-то песенный бум! И какие были песни! Я чувствую себя сейчас древней старушкой, которая вся в воспоминаниях о молодости, о том, что раньше и рысаки бежали резвее, и мужики были мужикастее, что, кстати, правда, и песни звонче и качественнее. Но это было на самом деле, и вы не можете со мной не согласиться. Вот маленький списочек песен, которые появились в то время:

Постой, паровоз
А нам все равно
Орлята учатся летать
Если б я был султан
Город детства
Черный кот
Старый клен
Сладка ягода
Ромашки спрятались
Ваше благородие...
Гляжу в озера синие
Есть только миг между прошлым и будущим
Девятый наш десантный батальон
Течет река Волга
Благодарю тебя
За того парня
Свадьба
Мой адрес Советский Союз
Мы желаем счастья вам
Увезу тебя я в тундру
Трава у дома
Исчезли солнечные дни
Надежда
Пока горит свеча
Не плачь, девчонка!
В моей душе покоя нет
Снегопад
Мои года – мое богатство
Идет солдат по городу

Прошло полвека, а их всё еще поют! Естественно, в другие десятилетия тоже рождались хиты, добротные, талантливые, но начало 70-х – настоящий песенный всплеск и по качеству, и по количеству!

А какие были союзы, творческие, я имею в виду! Назову один – Магомаев – Бабаджанян – Рождественский. Сколько раз эти безмерно талантливые гости – да разве можно было назвать их гостями – родственники! – просиживали допоздна, вернее, до утра, в нашей тесноте, сколько песен было написано, сколько сигаретного дыма выпущено из легких, сколько водки выпито и сколько лепешек съедено! И разве кому-то из нас было важно, что Магомаев – азербайджанец, а Бабаджанян – армянин? Разве кто-нибудь вообще об этом думал? Какая была разница, ведь оба они были ближайшими родительскими друзьями, а за стол, как вы понимаете, зовут не по паспорту! И что за счастье было с ними общаться! А их шикарное чувство юмора – у обоих! – раскатистый смех Муслима и уморительные всхлипы Арно! Как эти гении радовались друг другу!

Эх, как не хватает сегодня отношений такого высочайшего уровня и такой простоты этих отношений...

В это же время, в начале 70-х, у нас в доме появилась и Эдита Пьеха. Она была не как все, совершенно отдельная, немного инопланетная, но все равно быстро стала очень своей.

Она была невероятной красавицей, и я всегда ждала момента, когда она придет в нашу ново-арбатскую квартирку, сядет за стол и улыбнется. Она говорила мало, с мягким акцентом, я ловила каждое ее слово, и мне казалось, что я где-то там, за границей, ведь за граница всегда так манила и пахла жвачкой... Я сидела напротив нее за столом, слушала ее дивную тихую речь и уплывала мыслями в далекую Польшу, или ГДР, или еще куда, где было так прекрасно, с моей подростковой точки зрения. Еще мне очень нравилась ее необычная ластящаяся фамилия Пьеехааа, она еще ее произносила «Пиеха», и имя какое шикарное – Эдита! «Вот рожу дочку, назову так по-иностранному», – думала я тогда. Но родила трех сыновей, и Эдиту некуда было пристроить...

Красавицей она была настоящей и изысканной – с этими стрелками на веках, лучистыми, чуть грустными глазами, длинными тонкими пальцами, точеной фигуркой манекенщицы. Ей шло абсолютно всё, особенно мне нравились на ней элегантные брючные костюмы и высокие шапки из меха. А ее летящие балахоны, которые срисовала потом Пугачева? А цветок на груди, конкурирующий по размеру с лицом? Собственно, красавицей Пьеха и осталась до сих пор! Трудно было найти мужчин, не влюбленных в нее, почти невозможно!

Я много снимала ее и для «Частной коллекции», и для журнальных обложек, но перед первым ее приходом ко мне в студию долго мучилась, что именно ей предложить.

Ни одно лицо со стародавних портретов похоже на нее не было, лишь какие-то слабые отголоски. Перерыла десятки альбомов разномастных художников – всё мне не нравилось! Наверное, я была слишком к себе требовательна, воспринимала ее совершенно по-иному, как фею из детства в развевающихся одеждах, которая сидела за столом с моими родителями, волооко поглядывала в сторону рояля и пела под аккомпанемент Броневицкого: «Гдеее-то есть город, тиииихий, как сон...»

Хотелось придумать ей что-то красивое, необычное, скорей всего, какой-то общий план, ведь так трудно было найти лицо, похожее на ее.

И вдруг мне подарили альбом Альфонса Мухи! Не помню, кто и когда, но это случилось незадолго до прихода Эдиты Станиславовны. Я открыла его без особой надежды, но вдруг попала в совершенно волшебный мир невероятно красивых дев, обвитых, словно щупальцами, длинными золотистыми волосами, струящимися по телу, одетыми в невиданные, богато украшенные одежды, какие можно встретить только в сказках.

Мне понравилось буквально всё! И его задумчивые сезонные девушки – времена года, сидящие в жеманных позах на фоне природы, и прозаичные славянские типы, и барышни с рекламных плакатов, зовущие покурить новый сорт сигарет или выпить абсент.

А эта странная привязанность Мухи к Саре Бернар! Он рисовал афиши ко многим ее спектаклям, тщательно выписывая лицо, обрамленное оживающими волосами, и взгляд, вечно устремленный куда-то вверх.

Начал писать для нее афиши со спектакля «Жисмонда». Сходил на представление, восхитился потрясающей игрой уже немолодой актрисы – ей тогда было пятьдесят – и написал афишу так, как посчитал нужным, – в узком вертикальном формате, на золотом мозаичном фоне, в длинных монументальных ниспадающих одеждах, с пальмовым листом в руке – просто святая, и всё тут. Показал рисунок Саре Бернар, и ей такое почитание и поклонение очень понравились, а как могло быть иначе? Тем более возраст на плакате совершенно не был виден, а это ли для актрисы не главное? Весь Париж пестрел афишами «Жисмонды», и публика была в восхищении. Люди срывали их со стен, чтобы повесить у себя дома для красоты, а Сара Бернар заказала дополнительный тираж и пожелала познакомиться с начинающим художником лично. Поговорив с ним, поняла, что он – часть ее успеха, поскольку спектакль начинается с афиши, а афиши Мухи – более чем шикарное начало. Вот она и решила прибрать его к рукам

и заключила с ним контракт на шесть лет, по которому Альфонс создавал плакаты, костюмы и декорации к спектаклям, став таким образом главным художником театра.

Вот этот образ из «Жисмонды» я и присмотрела для Эдиты Станиславовны. Мне показалось, что эта величавость, благородство, порода и красота как нельзя лучше подходят Пьехе.

Через родительских друзей узнала еще много потрясающе интересного народа. Иосиф Давыдович Кобзон как-то на своем юбилейном концерте в давно снесенном концертном зале «Россия» познакомил меня в антракте с вальяжным мужчиной очень благородного вида, который все время улыбался. Шикарный серый костюм, дорогой красный галстук, белый накрахмаленный платок в нагрудном кармашке, тяжелые золотые запонки. И к этому представительному виду безумно хитрые молодые глаза. Это был художник Зураб Церетели.

С тех пор мы часто виделись, с удовольствием узнавая друг друга за кулисами во время торжеств, – и всегда он освещался своей замечательной улыбкой, словно очень рад был меня видеть! Он абсолютно трудолюбивого склада человек, он не может простаивать (или просиживать) без дела – должен рисовать, и всё тут! Подглядела однажды, как он рисовал на салфетке во время какого-то банкета. Сидит, все вокруг едят, а он рисует что-то своей массивной золотой ручкой и улыбается...

Он живет в своих картинах. Они густо-густо висят у него дома, так густо, что не всегда можно понять, какого цвета сами стены. В основном на картинах подсолнухи, могучие, яркие, плодоносные, очень похожие на него самого.

Несколько раз снимала Зураба Константиновича для проекта «Частная коллекция». Первый раз пришел, огляделся задумчиво и сказал мне, улыбнувшись: «Какая же ты красивая, вах!»

Уверена, что он говорит это вместо «здрассе» всем женщинам без исключения, но как честно это звучит! И как приятно это каждый раз слушать!

Переезд в студию

С развитием проекта, когда мы начали снимать уже по 4–5 человек в день, надо было подумать о профессиональной студии, где необходимо было выделить комнатку для грима, поставить вешалки с костюмами и платьями, разместить декорации и устроить закуток, где гостям можно было бы перед съемкой выпить чашечку чая.

Случались и накладки, особенно когда из «звезд» кто-то опаздывал. Должна сказать, что такое происходило почти постоянно, и тогда весь съемочный день летел к чертовой матери! Были обиды и казусы.

Недовольными процессом съемки оказались две великие актрисы – Инна Чурикова и Лариса Удовиченко. Снимали мы их в совершенно разное время, даже совершенно в разные годы, но вот не повезло, бывает. Причина недовольства была одна и та же – вслед за ними в студию пришли молодые актрисы, которые «сели в очередь» и тихо и покорно стали ждать своего часа. Просто пришли пораньше. Но великие-то увидели и сникли. «О, у вас тут, оказывается, поток», – сказала одна, но снялась. «Тут очередь? У меня пропал кураж», – сказала другая, но тоже снялась.

Наверное, я была не права, что сделала тогда такой плотный график, надо было разрядить, уважить, не права, понимаю, но обратно уже не повернешь. Ведь они штучные, удивительные, любимые, но время было такое, быстрое, большескромное, хотелось все успеть.

Тем не менее хороши получились обе, похожие на оригинал и на себя, с внутренним светом. Было это уже не дома, а в новой студии.

Когда муж показал мне огромный зал на седьмом этаже издательства, я обомлела. Громадное помещение было перегорожено какими-то толстенными трубами, обвязанными тряпками; высокие, во всю стену окна перечеркивали стальные балки-рельсы непонятного назначения, а под шестиметровыми потолками мило ворковали и какали голуби, изредка хлопая крыльями от нехватки аргументов в разговоре с соседом. Этот лабиринт из труб дико меня тогда напугал – в таких декорациях можно было снимать фильм ужасов или, на худой конец, мистический триллер, но никак не проводить фотосессии с известными людьми.

Мы пролезли через трубы, чтобы подобраться к грязным, почти непрозрачным окнам. Седьмой этаж, вид через загаженные окна на загаженный промышленный двор и дальше на такую же промышленную Москву. Лабиринт из труб обещали срезать заподлицо, чтоб они даже не напоминали весь этот кошмар, балки покрасить, окна помыть, а голубей выгнать на улицу. Трудно было поверить, что это помещение может когда-нибудь преобразиться. Пришла туда через пару недель, и правда, трубы уже действительно срезали, и глазу открылось внушительное пространство с высоченными потолками, моя будущая студия.

Рабочие разводили краску, а я размечала территорию. Вот тут сама студия, она должна быть просторной, чтобы можно было поставить свет и подальше отойти, если буду снимать большое количество народа, чтобы «воздух» был. Пол надо сделать обязательно серым, профессиональный скучный серый студийный пол, чтоб светлый не бликовал, а темный не поглощал свет, ну, а о цветном я вообще и не говорю.

Один угол в самой студии был выделен под разросшуюся библиотеку, другой – под гостиную, где можно подождать начала съемки, если вдруг гримерная еще занята. В гостиной я решила поставить родительскую ампирную мебель XIX века, добротную, красивую, хоть, между нами, и не самую удобную – диван с красноедеревной спинкой, весь в «пламени» (особенности этой породы дерева), чуть выгнутые кресла, стол со старинной расшитой скатертью – уж если затевать эту взрослую игру, то по-настоящему! Ведь изначально студия задумывалась как большая старинная жилая квартира, в которой просто было выделено место для съемок. Она получилась очень просторной и удобной и для съемок, и для жизни – шестиметровые

потолки с подвесным светом, черные бархатные занавески с полу до потолка, чтобы внутрь не проник ни один луч солнца из огромных окон, библиотека с альбомами из всех мировых музеев, где я была, а в них портреты, портреты, портреты...

В самом уютном уголке – маленькая гримерная, с баночками, болванчиками, подбором усов и бород, царскими париками, где правит королева – Люсяшка, Люся Раужина, высококлассный художник, мягкая, добрая и очень талантливая. Она пришла почти с самого начала проекта, когда я уже отчаялась найти профессионального гримера после череды неудач с какими-то левыми околкиношными тетками, делавшими грим долго, неумело, при этом совершенно непохоже на выбранную картину. Более того, их сварливые характеры подходили разве что для коммунальной кухни. Они сразу переходили на «ты» со всеми, кто приходил сниматься, вели себя по-хозяйски и довольно хамовато, хотя у каждой из этих гримеров-однодневок был свой репертуар. И при этом очень бледно выглядели в профессиональном плане. Как однажды сказала Гурченко: «Гример – это диагноз!»

И вот пришла Люсяшка – кто-то ее случайно порекомендовал, и наша съемочная жизнь сразу наладилась. Она делала грим очень быстро, молча и добротнo, умиротворяла любых, даже не самых качественных по характеру звезд. А еще сама шикарно шила парики, вела класс пастижерного искусства на «Мосфильме», где до этого отработала 25 лет и с Соловьевым, и с Шахназаровым, и с Эфросом, и с Хуциевым. Уже потом эти великие и знаменитые режиссеры сами выпрашивали ее согласие прийти на пробы очередного фильма, чтобы помочь «сделать Толстого», или возрастной грим, или еще что высокохудожественное. Теперь настало время, когда выбирает Люсяша, а не ее. Потому что таких профессионалов единицы. А помимо этого она еще и редкой доброты и верности человек, вообще удивительное сочетание!

В общем, студия получилась большая, темная (на самом деле очень светлая, но работать при дневном свете не всегда можно), окна с пола до потолка были занавешены черными бархатными непроницаемыми занавесками, сжирающими солнечный свет за просто так. Понавешала огромных крюков на стенки в разных местах, куда надевались стулья, – и ход смешной, вроде как дизайнерский, и место эти висячие стулья экономят. Нужен для съемки – снял, не нужен – повесил обратно.



Люся Раужина, Люсяша

Себе кабинетик выкроила крохотный, метров 5–6, вроде купе в поезде. Люстру мамину повесила в полкомнаты, стенки фотографиями родных украсила, шкафчик книжный притащила, в общем, быстро обжила. С обжитием столовой было еще проще – мы там все время ели. Как только был поставлен большой стол и стулья, чай в коробках, сахар да печенье, комната ожила.



Мой кабинетик



Александр Олешко на фоне исторического буфета

Раза три я меняла в столовой обои, причем выбирала именно такие, которые дома никогда бы не поклеила, – сочные, цветные, иногда с мелким затейливым рисунком и бордюром, ведь гостиная для нас тоже съемочная площадка, где должен как можно чаще меняться интерьер. Сначала мы жили в жато-мятых бордовых обоях с золотыми галунами. Цвет этот был даже не бордовым, а бордово-каштановым с каплей молока, спокойным, богатым, на фоне которого очень хорошо смотрится лицо. Но при этом одна стенка нашей столовой была обклеена кричащими красно-лазурными павлинами. Именно кричащими, такое впечатление, что они, яркие, крупные, сидящие по всей стенке друг напротив друга на широких золотых ветках, орали, голосили на всю столовую, и я поначалу вздрагивала с непривычки, натываясь на них взглядом. Зато сколько я сделала красивых обложек и фотографий, где птички на заднем плане!



Коллекция пряжек

Как только к павлинам попривыкла, решила вдруг поменять интерьер. Втащила в столовую гигантский старинный модерновый буфет из груши, не буфет даже, а целый дом! В современный лифт он, конечно, не вошел, его разобрали на несколько частей и только так, по лестнице, даже не на лифте, богатыри смогли поднять детали этого дома ко мне в студию.

Дом-буфет двухэтажный, высоченный, очень уютный. Встал по-хозяйски, не обычно, как все, а с расширением книзу, основательно, не сдвинешь. И если представить, что у него, у этого буфета, есть руки, то они были бы в боки, что он стоит так, подбоченившись, и смотрит на происходящее своими витражными глазами. Что он, собственно, и делал. В буфете, огромном-преогромном, вполне могли бы жить несколько семей гномов. Но там живет наша посуда. Внизу, в широком бездонном помещении из трех отделений с резными дверцами и медными двойными накладками, стоят ровными стопками наши повседневные белые тарелки из «Икеи». Знаю, самой стыдно, позор, но тогда торопились начать работу, поэтому было не до выбора, купили, как водится, временно. А потом эта тарелочная простота так у нас и осталась. Буфет такой, конечно, хранил когда-то Кузнецова, Гарднера, Корниловых. В общем, обязан был хранить продукцию Императорского фарфорового завода. Опустился сейчас, к сожалению, понимаю. Хотя на втором его этаже, высокопоставленном, за витражными родными

дверцами-глазками стоит пара-тройка рабочих Гарднеров и Кузнецовых с трещинками-волосинками, упавшими из-за дефекта в цене и купленными мною за бесценок под удивленный взгляд продавца. Надо для амбьянсу в кадре, а как же!

А между первым и вторым этажом большущий прилавок, как аэродром, куда все наши многочисленные чаи и приземляются, стоят в старинных чайницах и жестянках, как в магазине, – подходи, выбирай, заваривай! Жестянки эти выделяются на фоне вставок из разного металла с вычеканенными сценками из чьей-то прошлой жизни – медная жизнь, бронзовая, латунная. И два бронзовых барельефа на верхних створках – видимо, принцессы и сказочного принца – она молода и хороша, а он в шляпе с перьями. Еще балкончик есть маленький, с балясинами, все, как положено, для микро-Джульетты и микро-Ромео. Но пока там еще ими не занято, расположились наши старинные графинчики, рюмочки и прочая прелестная стеклянная мелочь, чудом не превратившаяся в осколки. Так что буфет наш все-таки не очень унижен и оскорблен. Он тоже часто снимается, богато и солидно смотрится в кадре, его хочется рассматривать.

Недавно снова сменила интерьер – обои на сегодняшний день пепельно-голубые, приглушенные, с серебристым отливом и чуть заметными вкраплениями цвета увядшей розы. На их фоне очень хорошо встал грушевый гарнитур начала XX века – этажерка-комодик с зеркалом, диванчик на две тощие попы и несколько основательных стульев с почти такой же, как и обои, обивкой, все неустойчивое до жути, малопрактичное, но очень сильно радующее глаз. Ну, а стенки мои разноперые в гостиной густо завешаны разномастными картинами, и современными, и старинными, в основном почему-то женскими портретами. Кто они, женщины эти, уже одному Богу известно, но вот взирают сверху, каждая по-своему, на нашу застольную жизнь, съемки, гостей, комедии и драмы, слезы и веселье. Смотрят и молчат. А может, переговариваются ночами тихо между собой, делятся впечатлениями.

Откуда я знаю...

Арапчонок

А самый главный житель нашей столовой – древний арапчонок. Он большой, с пятилетнего ребенка, сидит по-турецки на невысоком шкафчике в поблекшем плюшевом костюмчике, бывшем когда-то королевского голубого цвета (это видно с изнанки), и в хорошо посаженной на чернявую головку чалме. Время тронуло все, кроме его лица – оно блестящее, черное, хорошо прорисованное. Арапчонок наблюдает за всеми, и глаза его двигаются туда-сюда, как бывает иногда в механических часах с какой-нибудь глазастой кошкой на циферблате. Чтобы глазки задвигались, надо чуть качнуть его головку в сторону, и тогда он совершенно оживает.

Он с историей. Жил арапчонок раньше в Питере, Санкт-Петербурге тогдашнем, в каком-то богатом доме. Подарен был молодой жене довольно пожилым по тем меркам мужем, сорокалетним, в тот самый день, когда она родила ему дочку. Молодой отец за свою жизнь детей не нажил и счастлив был, когда услышал из покоев жены слабый писк. Сразу послал за цветами и куклой. Заранее не решился, чтоб не дай бог не сглазить, очень суеверным был. Просил самую красивую и дорогую купить, ведь жена была почти девочка, которая и сама еще в куклы не наигралась.

Через пару часов притащили в дом огромную перевязанную бантами коробку, где и сидел наш арапчонок. Как просили, ваше высокородие, самую дорогую, дороже нигде не нашли, все объездили. Молодая мама, усталая и измученная долгими родами, заулыбалась, увидев нашего арапчонка в голубом камзоле. Ну вот, нашей доченьке дружок, сказала она. Было это 8 ноября 1898 года, в день рождения маленькой Оленьки, отсюда и такая точность.

Стал арапчонок любимой семейной игрушкой, почти членом семьи, называли Абрашей. Смотрел Абраша, как Оленька росла, качал головой, водил глазками туда-сюда под звонкий детский смех и удивленные взгляды гостей. Следил, как девочка-ребенок превращалась в невиданную красавицу, и все равно продолжал качать головой, словно не веря, что это та самая Оленька, хотя все на его глазах, все на глазах.



В студии с арапчонком Абрашей

Вот так шло и шло, и хорошо было. А когда в семнадцатом году семье надо было срочно бросить особняк и спастись от анархистов, Оленька взяла с собой небольшой чемодан с теплой одеждой да арапчонка Абрашку, самое что ни на есть ценное. Уехать далеко по каким-

то причинам не получилось, сначала прятались у родственников, потом все как-то устроилось, началась новая жизнь, много хуже прежней, но жизнь.

В общем, смогла Оленька через всю историю XX века пронести и сохранить своего дружка Абрашку. Даже через войну. Мама во время блокады умерла, не выдержала, отец раньше, в 37-м, сгинул. У Оленьки получилось выстоять. Но мужа ее убили под Варшавой, а детей не нажили. Остался только Абраша. Снова жила, снова работала ученым-историком, как и до войны, но теперь углубилась в какие-то наполеоновские времена, превратилась в ведущего наполеоноведа и жозефиноненавистника. Ездила на Корсику, Эльбу и остров Святой Елены, но каждый раз возвращалась в Питер обязательно через Париж, через Дом инвалидов, где лежит Наполеон. Навещала. Ведь она так много о нем знала. Почти все.

Дожила почти до дряхлости, в одиночестве, среди фолиантов, документов, портретов Бонапарта. Хотя почему в одиночестве? У нее был Абраша, она каждый день читала ему стихи на французском, то Бодлера, то Верлена, а он молча слушал, не мигая, и глядел на нее своими черными человеческими глазами. Наконец поняла, что узнала о Наполеоне все, что было возможно, и решила, что пора на покой. Позвонила одному из своих давних студентов, тот нашел антиквара. Антиквар пришел, за несколько дней описал подробно все старинные документы и предметы, слушая одновременно историю ее жизни. Потом Ольга Алексеевна показала на Абрашу.

– Это главная моя ценность, хотя он, я думаю, ничего не стоит. Хочу вам его подарить. Не продавайте никому. Можете только так отдать.

Она осталась тогда одна в пустой квартире, антиквар предлагал помощь, спрашивал, что она теперь собирается делать, но Ольга Сергеевна только улыбнулась.

– Не волнуйтесь, мне просто надо кое-кому помочь.

И закрыла за ним дверь, держа сумку с огромными деньгами. Потом узнали, что Ольга Сергеевна основала какую-то премию, выплачивала студентам стипендии. Антиквар не вдавался в подробности – не пришибли старушку с такими деньгами, квартиру не отняли, и слава богу.

Антиквар, мы были с ним шапочно знакомы, подарил мне арапчонка много лет назад, как только у меня появилась студия. Принес со словами: «Пусть у вас посидит...» И ушел. А вскоре ушел навсегда. Вот арапчонок и остался жить у нас в студии как талисман. Даже не знаю почему.

И теперь сидит, налитанный французскими стихами, Наполеоном и добрейшей Ольгой Алексеевной, в красном углу, качает головой, глядя на беспокойную нашу жизнь, и тоже молчит, только глазами водит.

Санина каптерка

Из столовой еще один ход – в «каптерку» Саши Гречиной, художника-постановщика и крестной моих детей. Это ее название и ее хозяйство. Если бывают какие-то странные переплетения и совпадения в судьбах, то это тот самый случай у меня с ней.

До смешного.

Обе познакомились с будущими мужьями на отдыхе у моря. Она – на Черном, я – на Балтийском.

Свадьбы справили в один день и в один год, друг друга еще не зная.

Уехали в начале восьмидесятых, в одно и то же время, в заграничные командировки с мужьями. Я – в Индию с мужем-корреспондентом рассказывать советскому народу о братском индийском народе, она – в какую-то африканскую тьмутаракань с мужем-биологом изучать вирус свеклы.



Саша Гречина на съемках Юлии Началовой

Вернулись в середине 80-х, получив за несколько лет работы в антисанитарных условиях чеки, вроде как доллары на тогдашний советский момент, и пошли в один и тот же магазин «Березка», который продавал на эти чеки-доллары заграничные товары. Купили там, как потом выяснилось, все одинаковое – холодильники одной марки, стиральные машины, лампы и даже занавеску в ванную – белую с прорастающим снизу коричневым камышом. И главное, выбор-то был, «Березка» же элитная, так нет, выбрали все одно и то же. И если и лежали в магазине

всего две такие дурацкие занавески среди многих прочих, то нате вам – одна висела у меня, а другая – у Сашки!



Вот так мы начинали: Люся Раужина (художник по гриму), Галина Коршунова (директор проекта), Александр Васильев (компьютерный дизайн), Александра Гречина (художник-постановщик), Дмитрий Кружков (ассистент фотографа), ну и я

Потом мы обе запожарили. Сначала у меня сгорел только что отстроенный дом, из бруса, потом, совсем вскоре, ее только что отремонтированная квартира. Из-за электрозамыкания по той же причине, что и у меня, искра не там пробежала. Причем, что удивительно, я в этот момент случайно проезжала мимо (а район, где она живет, совсем чужой, от меня далекий) и увидела дым из знакомых окон на первом этаже. Сразу позвонила ей, а ее дома не было, она заканчивала ремонт и поехала купить какую-то отделку. Никто, как и у нас, не пострадал, отскребли, отчистили, снова отремонтировали квартиру, продолжили жить.

Наших мам дети независимо друг от друга стали называть Лялями. И ушли наши Ляли одна за другой.

Так и живем мы по сию пору рядом вот уже полжизни, прислушиваясь к тому, что друг у друга происходит, и удивляясь совпадениям.

А может, особо уже и не удивляясь.

У Сани врожденный и хорошо развитый вкус, любовь к деталям и безделушкам, трепетное чувство цвета, очень ладные и правильно растущие откуда надо руки.

Создать любой интерьер – барокко, средневековый замок, совковую общагу – это к ней. 15–20 минут, и вы там, где надо. Притаскиваются стенки-декорации, необходимая мебель, и этот скелет мгновенно обрастает мясом. Сашка обживает интерьер за несколько минут так, как многим и за годы не удастся, – картины в богатых рамах, ковер вместо скатерти на столе, подсвечник с художественно оплывшими свечами – пожалуйста, для королевского замка, или, если надо, другой интерьер, для комнаты в коммуналке – с чуть загнутой «живой», стоящей

дыбом, клеенкой, брошенным на пол окурком, скомканной газетой, цинковым ведром с торчащим оттуда половником, и через всю эту красоту протянута бечевка с семейным бельем.

В ее каптерке – коллекция редкостей и зависть любого блошиного рынка. Старинные трости и зонтики, рыцарские, почти настоящие пластмассовые доспехи, бутылки, старые и не очень, среди которых есть сравнительно давние с выдавленными надписями, чудом сохранившиеся, глубокого зеленого стекла, а есть и ностальгические советские кефирные, с широким горлышком. Все необычные пустые бутылки из-под ликеров, коньяков и прочих выпивок с праздничного стола несут к Сашке. Она их разместит, приютит и спрячет до поры до времени, то есть до съёмок.

Посуда есть на все случаи жизни – тяжелая медная, для каких-нибудь замковых кухонь, несчастные кузнецовские тарелки, склеенные-переклеенные, но все-таки кузнецовские, кастрюли-сковородки, гэдээровские далеко не полные сервизы, чайники-поильники, и ко всему этому богатству немного бывшей еды: засушенные до стадии мумии хлеб и бублики, муляжи курицы, окорока и связка чеснока. Последнее, видимо, еще и от вампиров.

Много разного ржавого железа – утюги всяческие, цепи-кандалы для любого применения, сабли и пистолеты для самообороны, ведра с коромыслом для Ивана-дурака и сетка-авоська со странным набором – в ней чай со слоником, бутылка из-под лимонада и газета «Правда» шестьдесят какого-то года. Есть сушеные бабочки, листья, трава, рожь в отдельном пакете колосится, много елок разного калибра.

В отдельном углу целая лениниана – барельефы, почетные грамоты, сложенные знамена с его золотым вечным профилем, переходящие треугольнички красных вымпелов с ним же, бюсты и портреты. Иногда на портретах он с другом Сталиным, иногда без, по настроению. Вот такой красный уголок. Без этого никуда, наша история.

В общем, все в Сашиной каптерке и не перечислишь, невозможно это.

Лидка и балетные истории

Устроившись с гримом, костюмом и реквизитом, мы потихоньку начали нашу съемочную жизнь. Народ пошел необычный, интересный, совершенно неординарный, все большие труженики и уже многого в жизни добившиеся. Характеры, конечно, иногда бывали не ахти, но мне же не жениться, пригласила, сняла, поудивлялась и дальше пошла. Мечтала поснимать кого-нибудь из балетных, ведь к балету с детства относилась с большим интересом и уважением.

Бабушка моя по материнской линии, Лида, была артисткой балета Московского театра оперетты и всю жизнь протанцевала. Ее друзья – балеруны и балеруны, родившиеся, как и она, где-то на заре XX века, стали практически моими друзьями детства. Они часто устраивали посиделки в нашей маленькой квартирке на Кутузовском с постоянным хохотом, нехитрыми закусками под «Столичную», солдатскими анекдотами и простыми манерами. Почти все были бездетными: девушки в силу своей работы – разъезды, гастроли, постоянные аборт, вплоть до вытравливания нежелательного плода жуткими пыточными методами, когда «беда» заставляла их на гастролях в маленьких провинциальных незнакомых городках. А что ж, приходилось выкручиваться своими силами, и все средства тогда были хороши. Жизнь казалась длинной и беспечной, страшно было только чуть-чуть и только сейчас, о будущем мало кто задумывался, ведь надо было дотанцевать именно эту партию, а после, в отличной физической форме и с подтянутым животом, вбежать на пуантах в следующий удивительный спектакль.

Были, конечно, случаи, когда девочки, забеременев, сходили с дистанции, чтобы родить ребенка, но эти случаи были слишком редкими, а девушки довольно прозорливыми и умными. Лида иногда потом рассказывала маме истории из бесшабашной молодости, а я, естественно, делала вид, что не слушаю.

Чего только не предпринимали подружки в попытке избавиться от крошечного человечка, удобно устроившегося в лоне после страстной встречи с коллегой по работе или случайным знакомым! Сначала, по возрастающей, травились достаточно ядовитыми отварами из шпанской мушки или пили стаканами вино, разболтанное с порохом или хинином. Когда желаемый результат не достигался, а так, скорее всего, и бывало, ночами напролет варились в кипятке с горчицей, постоянно добавляя горячую воду, чтобы, не дай бог, не остыла, чтобы кровь прилила куда надо и смыла непрошеного гостя из организма, как нечистоты водой из сливного бачка. Или прибегали совсем уж к средневековому способу – сами или с помощью местной бабки прокалывали плодное яйцо вязальной спицей или длинной острой шляпной булавкой, иногда даже гвоздем – в общем, любыми подручными средствами. Были случаи, когда по каким-то немыслимым причинам – видимо, «одна бабка посоветовала» – заталкивали в матку морковь или корень просвирника. Именно просвирник был почему-то больше всего в ходу. Так несколько дней и ходили в ожидании... Как только танцевали с овощным набором между ног – непонятно. Иногда и луковичу закладывали во влагалище так, чтобы донце было направлено к матке, и тогда корешки, отрастающие мгновенно во влажной и теплой женской среде, обволакивали зародыша своими белыми полупрозрачными щупальцами, которого через несколько дней можно было извлечь, дернув за зеленую луковую стрелку, прямо как с грядки.

Молодые были, пылкие, не до размышлений, отзывались вмиг на природный клич, а рыдали и думали уже потом, когда месячные запаздывали, когда о задержке знали почти все в театре, включая осветителей и костюмеров, и вместо очередного «здрасьте» спрашивали: «Ну как, не пришло?» И, желая продлить свою профессию, девочки шли на все, чтобы вытравить потом из себя этого ребенка, как присосавшегося паразита, – сейчас не время, пока еще совсем не до детей! А потом уже возраст, хронические болезни и тщетные попытки забеременеть, годы ежемесячного ожидания – вдруг задержка, вот бы...

Мужчины же все, ну почти все, в том Лидкином кордебалете были одиноки и бездетны в основном в силу своей тщательно скрываемой ориентации – за это дело в Советском Союзе можно было и загреметь в тюрьму. Так что я была «дочерью полка», скорее даже «внучерью» – все эти старики и старушки (а было им тогда всего плюс-минус шестьдесят) – меня просто обожали. Матом при мне почти не ругались, хотя из своей комнаты я часто слышала непонятные слова, не встречающиеся обычно в нашем семейном лексиконе. Почти – это потому что слово «блядь» употреблялось не в качестве ругательства, а для того, чтобы обозначить профессию, видимо, очень частую в балетных кругах. Замены ему не было. Наверное, потому, что слово это еще и объясняло состояние романтической женской души, так жаждущей разглядеть настоящего принца в том самом, одухотворенно прыгающем по сцене в белых колготках. А в колготки, рассказывала Лида, любой уважающий себя принц обычно подкладывал заячьи лапки для придания объема своему мужскому обаянию. Бабушка не уточняла мне тогда, зачем именно, я и решила, что, скорее всего, заячьи лапки помогают ему выше прыгать – как зайчик. Вот и бегал такой зайчик по сцене. А девочки всё думали: вот как узнать, а вдруг он и есть самый что ни на есть настоящий принц? Как это проверить? Только опытным путем. Но эксперимент не удался, проверку на вшивость принц не проходил, и взгляд разочарованной **ляди падал на другого принца в таких же белых колготках из второго состава. Поэтому в детстве я считала, что «**лядь» – это узкая специализация балерины – есть примы, есть второй состав, есть кордебалет и есть **ляди, что тут странного? И это были не какие-то неизвестные личности, они все имели свои имена, и слышать «эта **лядюга Воронова» было так же привычно, как если бы сказали «врач Петров» или «кассир Коршунова».

Лидкины друзья совсем не стеснялись в своем самовыражении. Все это я слушала, когда они хором учили меня балетным па вроде как на домашних уроках танца – я вставала у спинки стула, держась за нее одной рукой, будто в балетном классе, и пыталась повторить «позиции» за кем-то из бывших балетных. Но дальше этих обучений у стула дело не пошло – мама, хоть и сама училась в школе Большого театра, не захотела отдавать меня на эту «каторгу».

Когда в Москве случался какой-нибудь балетный конкурс, бабушка обязательно доставала на него билеты и всегда брала меня с собой. Все программки потом она тщательно изучала и сохраняла, знала всех ведущих артистов балета и внимательно следила за их творчеством. Объясняла мне, что такое «сыры» и «клакеры», – я ж не могла понять, когда бабушка говорила, что в ложу «набились одни сыры»!

«Сыры», как выяснилось, по-современному – фанаты, сформировались в группу давно, карауля своего идола – оперного певца Сергея Лемешева, который жил на улице Горького около магазина «Сыр». Так вот они, эти мальчики и девочки в возрасте, бегали в этот магазин греться, за что их и прозвали сырами. «Сыры» были и у Козловского, но Лемешев по количеству фанатов затмил всех. Они не рвали на нем одежду, не срезали пуговицы, нет, просто молча и благоговейно следили за его перемещениями – от машины к подъезду, из подъезда в машину. При его появлении часто падали в обморок – кто по-настоящему, кто театрально, чтоб тот заметил. На своего кумира никогда не кидались, а драки с «козловитянками», фанатами Козловского, устраивали часто – надо же было выпустить пар!



Бабушка на работе

Одна такая сыриха из бывших часто приходила к нам уже в качестве жены известного композитора и рассказывала про свои многочасовые дежурства у заветного подъезда в надежде увидеть певца и пройти за ним несколько шагов в шлейфе дорогого парфюма. Уверяла, что тембр лемешевского голоса эротически воздействовал на женщин. И эти секунды счастья полностью компенсировались часами ожидания. Потом легенды насыщались деталями и несуществующими подробностями, обрастали домыслами и эмоциями и превращались в романтически-фантазийный сюжет со счастливым концом – доступом к телу. В это обычно мало кто из соратников верил, но благородно позволяли верить самому рассказчику.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.